

A. P. ...

...

...

К.М.Станюкович. Собр.соч.в 10 томах. Том 3 //Издательство «Правда»,
Москва, 1977
FB2: "Ustas ", 2006-08-02, version 1.0
UUID: 53BDE575-3264-42A3-8B7C-024B489911E4
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Константин Михайлович Станюкович

Мрачный штурман

Содержание

#1	0006
I	0006
II	0010
III	0015
IV	0020
V	0032
VI	0035
VII	0042
VIII	0047
IX	0056
X	0074
XI	0085
XII	0093
XIII	0107
XIV	0113
XV	0118
XVI	0123

**Константин Михайлович
Станюкович
Мрачный штурман
рассказ [1]**



После трехлетнего дальнего плавания с грозными подчас штормами и непогодами, после тепла и приволья южных широт с их роскошными пейзажами, вечно греющим ярким солнцем, беспредельной высью бирюзового неба и волшебными тропическими ночами — корвет “Грозный” в 186*году возвращался на далекую родину.

На корвете было сто семьдесят пять человек команды, шестнадцать офицеров, доктор и иеромонах.

Все радовались возвращению. Долгое плавание, несмотря на все прелести природы, порядочно-таки надоело. Всем — и офицерам и матросам — хотелось поскорей на сушу, отдохнуть после продолжительной, полной тревог и случайностей, жизни на море.

Надо было поспеть в Финский залив до заморозков, и потому все торопились.

Чуть затихал попутный ветер, и вся поставленная парусина еле двигала корвет, или ветер начинал задувать “в лоб”, принуждая к

томительной лавировке, — как отдавалось приказание разводить пары, и старший механик, Иван Саввич Холодильников, давно уж скучавший по Кронштадту, где осталась молодая жена, — торопливей и веселей, чем обыкновенно, облакался в свою просаленную и прокопченную “машинную” куртку и с радостным лицом бежал к себе в “преисподнюю”, переваливаясь всем своим худым, костлявым туловищем, похожим на плохо собранную машину, и размахивая, словно крыльями, длинными, никогда не находившими места руками.

И скоро “Грозный”, попыхивая дымком из своей короткой горластой трубы, шел вперед полным ходом, подрагивая кормой под однообразный и равномерный стук машины.

Редкие заходы в попутные порты за углем и за свежей провизией отличались теперь короткими стоянками, не позволявшими любопытным мичманам основательно знакомиться с местными ресторанами и красотой туземок. Капитан, изнывавший в ожидании увидеть жену и детей, торопился сам и поторапливал всех. Значительно смягчившийся

характером, по мнению молодых мичманов, с тех пор как получено было предписание “следовать в Кронштадт”, и “разносивший” подчиненных далеко не с прежней страстной стремительностью, он при каждом заходе в порт без обычной раздражительности просил “медлительного барона”, ревизора корвета, “не копать” и как можно скорей оканчивать расчеты с берегом.

Но просьбы капитана на этот раз были излишни.

Барон Оскар Оскарович, которого матросы перекрестили в “Кар Карыча” и звали потихоньку “долговязой цаплей”, и без капитанских просьб сбросил теперь свою упрямую, методичную и самодовольную остзейскую флегму и с удивительной в нем быстротой летал к консулам, торопил поставщиков, принимал провизию без придиричивой мешкотности и заставлял грузить уголь по ночам, ибо, в свою очередь, торопился в Митаву, к невесте; портреты ее в различных позах и костюмах влюбленный барон получал чуть ли не каждой почтой и теперь предвкушал счастье скоро припасть к ногам оригинала.

Таким образом, корвет нигде не застаивался и не терял времени, что, разумеется, очень радовало всех женатых людей и влюбленных женихов и несколько огорчало некоторых молодых офицеров, не сидевших, как большая часть молодежи, “на экваторе” и мечтавших было “просадить” сотни две-три франков в Париже. Но увы! — в Шербурге [2], где сперва предполагали краситься, корвет простоял лишь сутки, и Париж “улыбнулся”.

— По крайности, денежки ваши целы, — утешал раздобревший за время плавания отец Агафон.

— Вам, батя, хорошо рассуждать... Вы — монах.

— В каких это смыслах?

— А в таких смыслах, что вас не должна смущать прелесть француженок, а нас смущает... Впрочем, если бы вы увидали их в Париже...

— Замолчите, бесстыдники, — добродушно останавливал мичманов отец Агафон и затыкал обеими руками уши, оставляя, однако, щелочку.

Ввиду скорого окончания плавания и на-
строение команды сделалось веселым и
приподнятым. Еще бы! Матросам, более чем
кому-либо, “очертело” это шатание по океа-
нам, полное беспокойств, трудов и опасно-
стей суровой морской службы, с частыми пор-
ками и зуботычинами, с вечной руганью за
малейшую оплошность, приводившую в
ярость офицеров “дантистов”, которых на
корвете было довольно-таки.

На баке и в палубе матросы, рассчитывав-
шие после “дальней” сходить домой на по-
бывку, чаще, чем прежде, лясничают о “своих
местах”, а женатые, обстоятельные матросы,
и те из холостых, которые не прогуливали на
берегу всех денег, чаще заглядывают в свои
парусинные мешки, чтобы пересмотреть при-
копленные за три года собственные вещи
(преимущественно рубахи) и заграничные го-
стинцы для баб. Старики, ожидающие “чи-
стой” и, вероятно, плавающие в море послед-
ний раз в жизни, толкуют между собой о раз-
ных “способных должностях”, которые могли

бы они исполнять, если не поживется в деревне.

В кают-компании те же темы разговоров. Холостые офицеры с веселым оживлением беседуют о том, кто куда поедет после плавания. Наверное, дадут шестимесячный отпуск с сохранением содержания и годовой оклад не в зачет, в виде награды. Значит, можно заново экипироваться. Особенно экспансивны мичмана, недавно произведенные из гардемарин. Многие из них ушли в плавание безбородыми, безусыми юношами, а теперь возвращаются молодыми людьми, с загорелыми, огрубевшими, свежими лицами, с шелковистыми бородками, окрепшими голосами, с некоторой напускною серьезностью и преувеличенным щегольством манерами заправских “морских волчков”.

Каждого из них давно нетерпеливо поджидают в семьях. Каждого сладко манит радость свидания после долгой разлуки и давно не испытанная прелесть родного гнезда, где мать и подростки сестры и братья с благоговейным вниманием и с гордой любовью будут слушать по вечерам, собравшись тесным круж-

ком, рассказы вернувшегося странника. И вся обстановка “той” жизни, совсем не похожая на настоящую, кажется теперь особенно уютной, приятной и милой.

“Там” не будет ни “мокрых” ночных вахт, ни постоянной качки, ни штормов, наводящих трепет, бережно скрываемый от чужих глаз под видом небрежного равнодушия, ни отчаянных “разносов” свирепеющего от вечного одиночества капитана, который приучил себя каждому пустяку придавать серьезное значение, ни замечаний педанта старшего офицера, представляющегося занятым одной лишь службой. “Там” не услышишь этих внезапных, способных разбудить мертвого, окриков боцмана: “Пошел все наверх рифы брать!” — окриков, заставляющих среди ночи выскакивать из теплой койки и, наскоро одевшись, стремглав лететь наверх на палубу. “Там” не придется постоянно и неизменно видеть одних и тех же людей, сведенных на пространстве длиною в сто шестьдесят футов; обязательное непрерывное общение с ними делает подчас самых лучших людей невыносимыми друг другу, по крайней мере на вре-

мя, пока “берег” с его удовольствиями не даст новых впечатлений, и эти самые люди, казавшиеся благодаря скуке и однообразию томительного тридцатидневного перехода “невыносимыми”, — снова кажутся не такими уж тяжелыми людьми, и беседы с ними после “берега” опять получают интерес. “Там” нет этой тесной каютки, где все “принайтовлено”, — узкой и темной, с наглухо “задраенным” иллюминатором, обмываемым седой волной, которая иногда невольно заставляет думать, что лишь несколько дюймов дерева отделяют человека от этого страшно-таинственного бездонного океана, которому ничего не стоит поглотить корвет со всеми его обитателями. Какая-нибудь роковая случайность — столкновение, пожар, ураган — и... все кончено. Океан, по-прежнему загадочный и таинственный, с прежним бессмысленным бешенством будет катить свои седые валы над местом, где только что волновались, мечтали, надеялись, — словом жили две сотни людей...

Такие мысли об “изнанке” плавания теперь чаще лезут в голову, хотя, по ложному

стыду, о них никто не решается говорить. И возвращение становится еще желаннее и милее. И разговоры о поездках в разные уголки России не истощаются среди молодежи.

Семейные люди — доктор, механик и артиллерист — никуда не собираются. Им только бы поскорей добраться до Кронштадта, где свиты оставленные ими гнезда. Люди солидных лет, они не пускаются в откровенные излияния, но зато обнаруживают малодушное нетерпение и раздражительность каждый раз, когда засвежеет противный ветер, разводя большое волнение, и “Грозный”, не отличающийся сильной машиной, еле подвигается вперед, клюя носом и с трудом выгребая против ветра, или когда стоянка где-нибудь кажется им продолжительною.

В первом случае они то и дело выходят наверх и сердито и беспокойно посматривают и на небо, покрытое тучами, и на воду, справляются о барометре и молчаливо хмурятся в кают-компани, а во втором — с затаенным недоброжелательством бросают взгляды на ревизора, когда он, усталый от беготни, хлопот и пререканий на берегу, возвращается на корвет и с мрачным видом, молча пьет чай в кают-компани, только что выругав совер-

шенно безвинного вестового.

“И чего он копался на берегу, этот долговязый барон? Отчего до сих пор не везут угля? Ведь так мы опоздаем в Кронштадт!” — досадливо думают они. И все косо поглядывают на “долговязого барона”.

Но ревизор мрачен, как ночь, и никто не отваживается на расспросы, выжидая, когда начинавшее лысеть чело молодого барона немного прояснится.

В эту минуту входит в кают-компанию мичман Петров, прозванный “легкомысленным мичманом”. Он только что выспался перед ночной вахтой и, заметив ревизора, немедленно спрашивает, щуря спросонков глаза:

— Что, барон, скоро дождемся угля?

Это было слишком даже и для такого флегматика, как “долговязая цапля”! Этим углем его уж успели довести до белого каления, едва он, выскочив со шлюпки, показался на палубе.

— Когда же уголь? — встретил его с неммым укором капитан, едва сдерживаясь от желания по крайней мере “вдребезги разнести” ба-

рона.

— Скоро ли уголь-с? — сухо спросил старший офицер.

— Отчего не везут угля? — считал долгом остановить барона каждый из гулявших на палубе.

Хотя барон, щеголявший своей джентльменской остзейской выдержкой, и отвечал всем по обычаю изысканно любезно, длинно и обстоятельно, но внутри у него кипело. Раздраженный и отсутствием обещанных консулом шаланд с углем, и немым укором капитана, во взгляде которого он ясно прочел сдержанную злобу, и обилием этих вопросов об угле, полных, казалось, скрытых обвинений, барон был весь начинен досадою и гневом, когда, наконец, спустился в кают-компанию и молча отхлебывал чай, чувствуя бросаемые на него не особенно ласковые взгляды доктора и остальных женатых.

Таким образом, вопрос “легкомысленного мичмана” был фитилем, приставленным к заряженной пушке.

И барон теряет свое самообладание. Весь вспыхивая, он накидывается на мичмана.

— Да что вы ко мне пристаёте с углем, позвольте вас спросить? — восклицает он раздраженным, гневным голосом. — На себе я его привезу, что ли, как вы думаете?

Но так как мичман, ошалевший от этого неожиданного взрыва, в первую секунду мог лишь удивленно вытаращить глаза, то барон снова выпаливает:

— Разве я виноват, что этот англичанин, имеющий честь называться русским консулом, такое животное? Должен ли я отвечать за него, или не должен, по вашему мнению?

И, разумеется, не дожидаясь мнения мичмана, барон продолжает “разряжаться”.

Он, вот, с раннего утра, сегодня, как собака, рыскал по городу, высунувши язык, а все: “Когда уголь?”, “Отчего нет угля?” Нечего сказать, деликатно! Поехали бы сами, посмотрели, как с консулом дела делать. Три раза он был у этого рыжего дьявола из-за угля. Сперва было совсем отказал найти людей по случаю воскресенья... Наконец дал слово, что к шести часам шаланды будут, а их нет. Это черт знает что такое! Пускай капитан жалуется на подобных консулов... Консул — скотина, а ревизор ви-

новат!

— Покорно вас благодарю! — неожиданно прибавляет барон, взглядывая со злостью на мичмана.

— Но позвольте, барон...

— Что “барон”! Барону никакого отдыха нет... Барону вот сию минуту надо опять ехать на берег из-за этого консула, а вам что?.. Спите сколько угодно... Покорно благодарю!

— Да разве я, барон...

— Побыли бы вы ревизором, испытали бы эту каторгу! — продолжает он, несколько смягчаясь, по-прежнему не обращая ни малейшего внимания на попытки мичмана докончить фразу.

По счастью, вбегает рассыльный и докладывает, что идут шаланды с углем.

И барон, не докончив чая и своих lamentаций, выскакивает наверх. Лица женатых проясняются. Только “легкомысленный мичман” с минуту находится в недоумении, за что это обрушилась на него долговязая цапля.

— Верно, попало ему от капитана, а? — смеется он, обращаясь к присутствующим.

IV

По мере того, как “Грозный” приближается к северу, видимо возрастает общее нетерпение. Уже высчитывают остающиеся дни плавания (“если, бог даст, не будет никаких случайностей”, — опасливо прибавляют люди постарше) и чаще стыдят старшего механика за то, что “Грозный”, несмотря на полный ход и на самую благоприятную погоду, “ползет” как черепаха, всего по семи с половиною узлов в час.

— Хоть бы до восьми постарались, Иван Саввич! — говорят ему, когда он показывается в кают-компании.

Все, разумеется, отлично знали, что Иван Саввич, заботившийся о своей “машинке”, как нежно называл он двухсотпятидесяти-сильную машину корвета, точно о родной дочери, и сам “старался” и нисколько не виноват, что его “машинка” большего хода давать не могла, но надо же было излить досаду нетерпения, тем более что объект этих жалоб, милейший Иван Саввич, был в высшей степени мягкий, добродушный и невозмутимый

человек.

И он не обижался.

Покуривая дешевую манилку [3] и теребя свои реденькие рыжеватые бакенбарды, окаймлявшие рябое, покрытое веснушками лицо, с съехавшим чуть-чуть на сторону носом и большими голубыми глазами, кроткое и умное выражение которых значительно смягчало некрасивость его лица, Иван Саввич терпеливо отмалчивался или замечал, добродушно улыбаясь:

— Больше ходу взять неоткуда... Слава богу, идем хорошо. И то подшипники нагреваются! — озабоченно прибавлял Иван Саввич.

— Нечего сказать... хорош ход!.. — иронизировал кто-нибудь.

— И такого хода не будет.

— Это почему?

— А если засвежеет... Кажется, к тому дело идет! — пугал Иван Саввич.

— Типун вам на язык, Иван Саввич!

— Небось этого не любите! — смеется Иван Саввич.

Но когда суточное плавание корвета, благодаря попутному ветру, бывало не менее

двухсот миль, большая часть семейных людей расцветала.

Экспансивнее других женатых выражал в такие дни свою радость доктор Лаврентий Васильевич Жабрин, высокий, крупных размеров, видный толстяк, лет за сорок, с громадным животом, снискавшим ему большой почет и уважение среди китайцев. Его шаровидное румяное лицо с двойным подбородком, с мясистым носом, толстыми сочными губами и маленькими, заплывавшими жиром глазками — лицо с благодушно-довольным выражением уравновешенного человека — теперь положительно сияло и потому, вероятно, казалось еще ординарнее и глупее, чем обыкновенно.

Лаврентий Васильевич был совсем обленившийся, зажиревший человек, идеалы которого давно сузились в рамках маленького, нетребовательного личного благополучия и ленивого покоя. В течение трех лет плавания он большую часть времени просиживал на своем постоянном почетном месте, рядом с местом старшего офицера — на диване, или в приятном и всегда нетерпеливом ожидании

часов еды, или в осовелом состоянии хорошо покушавшего обжоры, чувствующего ко всем прилив необыкновенного дружелюбия вместе с неодолимым желанием расстегнуть нижние пуговицы, стесняющие громадный живот, и подремать, подсапывая и подсвистывая носом, с засусленной сигарой во рту.

Это неизменно блаженное настроение доктора нарушалось лишь тогда, когда на корвете случались больные. Тогда Лаврентий Васильевич становился раздражительным и озабоченным. Он терпеть не мог больных, особенно таких, которые продолжали хворать и после натирания горячим уксусом — этого излюбленного Лаврентием Васильевичем средства против всяких болезней. Приходилось, таким образом, беспокоиться и изыскивать другие средства, а между тем профессиональные познания доктора, по-видимому, были не из обширных. Он давно не заглядывал в медицинские книжки и предоставлял больше природе делать свое дело, помогая лишь ей уксусом, горчичниками и касторовым маслом. Вероятно, потому он отрицал и самую медицину, утверждая, что она еще в младен-

честве, что еще не вполне дознано, как лекарства действуют на организм, и, следовательно, несравненно, мол, лучше обходиться по возможности без лекарств.

И обыкновенно добродушный Лаврентий Васильевич серьезно сердился, когда матрос жаловался на нездоровье.

— Ну, чем ты, каналья, болен? Какая у тебя болезнь может быть? Просто полодырничать в лазарете захотелось, а? Так ты так и скажи, а то: болен!

— Никак нет, вашескородие... Ломит всего... Нутренности горят, вашескородие...

— Гмм... Ломит? “Нутренности” горят? — сердито ворчит Лаврентий Васильевич. — Посмотрим, посмотрим, братец... Покажи-ка язык!

Матрос добросовестно высовывает язык, весь покрытый белой пленкой.

Доктор хмурится. “Кажется, в самом деле болен, шельма”, — думает он.

— Так ломит, говоришь ты?

— Ломит, вашескородие.

Лаврентий Васильевич тогда пробует рукой голову, щупает пульс и, обращаясь к

фельдшеру, отважно приказывает:

— Антонов! Натереть его покрепче горячим уксусом да напоить малиной... Пусть хорошенько пропотеет. А к вечеру, если не будет лучше, дать две ложки касторового масла...

— Не прикажете ли, ваше высокоблагородие, для верности дать прием хины на случай, если *febris gastrica* [4]...

— Что ж, можно и хинки дать... Дай, братец, дай.

— Сколько прикажете: десять гранов?

— Пожалуй, десять.

По счастью для врача, а еще более для матросов, серьезно больных на корвете почти не было, и таким образом уксус, малина, горчишки и касторовое масло успешно делали свое дело вместе с фельдшером Антоновым, к которому матросы гораздо охотнее прибегали за помощью, чем к “ленивому борову”, как нелюбезно звали доктора на баке.

Возвращение в Россию несколько встрянуло и Лаврентия Васильевича. Он сбросил обычную лень и неподвижность и по временам даже “нервничал”, то есть ел без особен-

ного обжорства. В “счастливые дни” хорошего суточного плавания он оживлялся, охотно угаживал желающих “марсальцей” [5] и чирутками [6] из Манилы, рассказывал свои любимые анекдотцы скоромного содержания (давно, впрочем, всеми слышанные), первый заливаясь в конце анекдота густым, сочным, утробным смехом, и надоедал всем расспросами: “Когда придем в Кронштадт?”

Скорей бы добраться! Довольно с него этого долгого плавания. Шутка сказать: три года! Он уж больше ни за что не оставит своей Марьи Петровны и троих ребяток и не пойдет за границу (бог с ней!), хоть заграничное плавание и выгодно, конечно, в материальном отношении. Но он не гонится за большим. Он не жаден к деньгам и не мечтает о карьере. Он не намерен ради усиленного оклада подвергаться беспокойствам и жить в разлуке с любимой семьей. Довольно и трех лет!.. Слава богу, за три года он кое-что скопил про запас.

— По нашим скромным требованиям как-нибудь проживем и с береговым содержанием! — весело, с чувством полного удовлетворения, прибавлял довольный Лаврентий Ва-

сильевич, заранее предвкушавший сладость осуществления своей давнишней мечты, из-за которой, собственно говоря, он, этот ленивый толстяк и счастливый семейный человек, и просился в кругосветное плавание. Мечта эта — покупка маленького деревянного домика с садиком, — конечно, в одной из дальних кронштадтских улиц, где дома дешевле, — уже высмотренного и приторгованного Марьей Петровной, образцовой хозяйкой и женой, до сих пор влюбленной в своего “Лаврика”, такой же высокой, крупной, дебелой и еще моложавой, как и ее супруг. Там, в собственном домике, план которого недавно прислала жена, он отлично разместится в шести комнатах со своей “Машетой” и тремя мальчуганами и снова заживет в семье, среди любимых и любящих лиц, в приволье домашнего уюта и общей ласки, не стесняясь летом ходить по саду в своем любимом халате. Сад-то ведь собственный!.. Покойное место старшего экипажного врача (лечить больных, слава богу, не придется — на то есть госпиталь!), не требующее никаких занятий, хозяйственные беседы по утрам за чаем с Марьей Пет-

ровной, прогулка по службе в казармы, в полдень рюмка-другая хорошей водки с домашними соленьями, в третьем часу сытный домашний обед в веселой компании вернувшихся из гимназии двух старших мальчиков и маленького, общего баловня, чудесные наливки и славное варенье к чаю, заготовленные в изобилии к приезду Лаврентия Васильевича, сладкая дремота после обеда в кресле и ласковый шепот жены: “Усни, Лаврик, на кровати”, вечера в клубе или дома с несколькими хорошими игроками за вистом [7] по маленькой, эдак робберов [8] двенадцать, вкусная закуска с обильной, выпивкой привезенной марсалы и затем безмятежный сон счастливого человека на мягкой пуховой постели рядом со своей Машетой, необыкновенно авантажной в своем кокетливом ночном чепчике, из-под которого выбиваются черные косы, всегда нежной и ласковой (даже в случае проигрыша Лавриком за вистом), — не счастливая ли это в самом деле жизнь, за которую можно только благодарить судьбу?!

Такие мысли в последнее время все чаще и чаще приходили в голову благополучного

Лаврентия Васильевича, и он все более и более разгорался желанием скорее вкусить давно не испытанных тихих радостей семейной жизни и броситься в объятия своей верной Машеты. И сама эта тридцатипятилетняя, полная и рыхлая Машета с моложавым и румяным, но самым банальным лицом, которую мичмана, видевшие Марью Петровну на проводах, дерзко окрестили “холмогорской коровой”, рисовалась теперь пылкому воображению соломенного вдовца в самом очаровательном, соблазнительном виде, далеко не соответствующем действительности.

— Через неделю придем, не правда ли? — обращался ко всем возбужденно Лаврентий Васильевич.

— Придем... придем!.. А не бойсь много везете с собой денег, доктор? — спрашивали молодые люди.

— Так, кое-какие деньжонки есть! — с уклончивой скромностью отвечал доктор.

— У доктора, господа, в кубышке, наверное, тысяч десять лежит! — уверенно выпаливает “легкомысленный мичман”, возвращавшийся, как и большая часть молодежи, без

гроша в кармане.

— Уж и десять! Не жирно ли будет?

— А сколько?

— Слава богу, если тыщонки три наберется! — скромно говорил он, уменьшая про всякий случай на две тысячи с хвостиком цифру своих сбережений.

— Не маловато ли, доктор?

— А вы, видно, лучше меня знаете? — недовольно замечает Лаврентий Васильевич, не особенно охотно посвящавший посторонних в свои денежные дела.

— Мы думали, гораздо более, и рассчитывали, что вы по случаю возвращения нас всех угостите шампанским!

— Ну, уж это шалите!.. У меня на шампанское, господа, денег нет... У меня не шальные деньги, как у вас, у легкомысленного мичмана! Однако что ж это не накрывают на стол? — круто обрывает доктор щекотливый разговор. — Уж время и обедать! — прибавляет он, взглядывая на часы.

И при мысли об обеде маленькие свинные глазки Лаврентия Васильевича загораются плотоядным огоньком. Он осведомляется, ка-

кие будут кушанья, и сладко подсасывает своими толстыми, мясистыми губами.

Среди всех этих радостных и веселых лиц моряков один лишь старший штурманский офицер, Никандр Миронович Пташкин, сохранял обычный свой сдержанный, холодный и сумрачный вид, не обнаруживая ничем, по крайней мере на людях, ни нетерпения, ни радости по случаю возвращения в Россию и никогда не заговаривая об этом, точно ему было все равно и точно его никто не ждал в Кронштадте.

Он был, как и всегда, молчалив и серьезен, этот непроницаемый и для многих загадочный человек, строгий педант по службе, аккуратный, как судовые хронометры, за которыми смотрел, точный, как его ежедневные вычисления, ни с кем не сблизившийся за время трехлетнего плавания и державшийся неизменно особняком, с амбициозным чувством собственного достоинства и подозрительной осторожностью непомерно мнительного и самолюбивого человека, не допускавшего никакой короткой фамиллярности, никакой шутки в отношениях, особенно со сто-

роны флотских офицеров — этих “аристократов службы”, к которым в качестве “парии штурмана” он питал традиционную глухую. Ненависть, зависть и затаенное презрение.

А между тем навряд ли был на корвете человек, который бы ждал прихода в Кронштадт с таким страстным нетерпением, как этот самый “непроницаемый” Никандр Мионович, целомудренно-ревниво таивший от посторонних глаз свои чувства, словно бы боясь профанировать их и показаться смешным в образе влюбленного пожилого мужа.

Он, как школьник, считал у себя в каюте остающиеся дни и часы до предположенного им прихода, мучительно страдал при каждой задержке и безумно радовался при каждом лишнем узле, замирая, как влюбленный юноша, при мысли о свидании с молодой женой, которая была все в его жизни: ее счастье, радость, ее единственный смысл. Он успел с ней пробыть лишь два счастливые короткие года и любил, вернее — боготворил жену со всею глубиной и силой своей первой поздней страсти, полный благодарной признательности пожилого, сознающего свою скромную внеш-

ность человека к молодому, расцветающему созданию, которое серенькие мрачные будни его прежней одинокой, никому не нужной жизни вечного труженика обратило во что-то светлое и радостное, хотя по временам и жутко мучительное, когда внезапно набегала мнительная мысль: “А что, как это счастье вдруг кончится и жена полюбит кого-нибудь молодого, красивого, изящного, как она сама?”

Ужас охватывал в такие минуты Никандра Мироновича...

VI

В день ухода из Кронштадта она приезжала на корвет проводить мужа, эта свежая, стройная, со вкусом одетая, красивая молодая брюнетка, с прелестными черными глазами, с родинкой на щеке и раздувающимися розовыми ноздрями задорно приподнятого носика над пунцовой, подернутой пушком губой. Она была задумчива, серьезна и слегка грустна, что, однако, не мешало ей по временам улыбаться, показывая маленькие, ослепительной белизны зубки, и украдкой от мужа бросать на любующихся ею молодых моряков быстрые, как молния, полные жизни, блеска и огня, кокетливые взгляды и тотчас же скромно опускать их, прикрывая глаза, словно сеткой, длинными густыми ресницами и снова принимая прежний задумчивый и печальный вид жены, опечаленной разлукой.

Но каким жалким и несчастным рядом с этой высокой и эффектной, сиявшей красотой и молодостью женщиной казался бедный Никандр Миронович, маленький, худой, поджарый и сутуловатый, со своими врозь рас-

ставленными, по морской привычке, слегка изогнутыми короткими ножками!

Обычное суровое выражение, в котором чувствовалась энергия сильного характера, теперь исчезло с его умного, но крайне невзрачного лица, сухощавого, старообразного, точно сморщенного, с непропорционально большим, книзу опущенным носом, неуклюже торчащим между плоских желтых щек, испещренных бородавками.

Взволнованное, сконфуженное и словно еще более постаревшее, бледное, с нервно вздрагивающей губой лицо штурмана светилось выражением беспредельной любви и глубокой скорби, когда он взглядывал на жену долгим, неотрывающимся взглядом своих серых, теперь необыкновенно кротких глаз. И напрасно Никандр Миронович, желая скрыть от посторонних волнение и печаль, старался принять свой обычный суровый вид или пробовал улыбаться. Улыбка, кривившая его губы, выходила неестественная, жалкая, и никакого “вида”, кроме страдальчески беспомощного, у бедного Никандра Мироновича не было.

Появление этой красивой, как куколка одетой, молодой женщины произвело некоторую сенсацию среди офицеров и многочисленной публики провожавших. Мужчины любовались ею, а “флотские” дамы, кронштадтские “патрицианки”, оглядывали и госпожу Пташкину и ее элегантный костюм завистливыми, удивленными глазами, словно бы изумлялись, что жена “какого-нибудь штурмана” может быть так хороша и изящна.

Проходивший мимо с озабоченным лицом старший офицер, увидав красивую брюнетку, невольно уменьшил шаг, неизвестно зачем покрутил свой длинный ус и пошел далее, взглянув на Никандра Мироновича завистливо и сердито, точно хотел сказать: “И зачем это у тебя, у штурмана, такая красавица жена!”

В небольшой кучке молодежи между тем шел оживленный обмен впечатлений. Восхищались и глазами, и руками, и “вообще”, и детально.

— И где это штурман мог подцепить такую красавицу, скажите на милость?

Оказалось, что никто этого не знал и ни-

кто раньше не видал ее в Кронштадте.

— Но она-то хороша!.. Выйти замуж за такое мурло, как Никандр Миронович! — с сердцем заметил легкомысленный мичман.

— Настоящий карла Черномор перед Людмилой!

— Не бойсь, уйдем — явится и Руслан!.. [9]

— Тише... Еще, пожалуй, услышит!..

— И поделом! Не женись на такой хорошенькой!

Заметил ли Никандр Миронович все эти любопытные, нечистые взгляды, бросаемые на жену, или до него долетело какое-нибудь из пошлых восклицаний, но только лицо его вдруг как-то болезненно перекосилось, и он прошептал:

— Пойдем ко мне в каюту, Юленька. Здесь столько народу...

— Как хочешь, мой друг... Только не душно ли там?

Голос Юленьки звучал мягко и нежно, словно гладил.

— Ты боишься духоты? Так останемся! — с грустной покорностью промолвил Никандр Миронович.

— Нет, нет, пойдём...

Они ушли вниз и не вышли к прощальному завтраку в кают-компании.

— Ишь Отелло какой! Даже полюбоваться не даёт! — смеялись мичмана.

Уже гудели пары, выхаживали якорь, и провожавшие родные и друзья стали по сходне переходить на пароход, стоявший борт о борт с корветом, когда на палубе показался Никандр Миронович с женой.

Она имела расстроенный, печальный вид, утирала обильно льющиеся слезы и повторяла: “Смотри же, пиши чаще, береги себя!” Никандр Миронович ничего не говорил. Бледный как полотно, видимо осиливая душевную муку, он был безнадежно спокоен, как человек, мужественно идущий на казнь, к которой успел приготовиться. Он довел жену до сходни, крепко сжал ее руку, хотел что-то сказать, но судорога сжала горло, и он только махнул головой и торопливо взошел на мостик, на свое место.

Пароход с провожатыми отошел, и “Грозный” тихо тронулся вперед, плавно рассекая воду...

— Счастливого пути!.. Прощайте!.. Прощай!..

С парохода кричали, кланялись, махали фуражками, зонтиками, платками. С корвета отвечали тем же.

Никандр Миронович молча смотрел бессмысленным взглядом на корму парохода, где стояла его жена и махала голубым зонтиком. Корвет забрал ходу, и бесконечно дорогого лица не было видно. Только светло-яркое пятно женской фигуры пестрело на корме парохода, но и оно через несколько минут ушло от жадных глаз, слившись в темной кайме человеческих голов. И самый пароход, уносивший от Никандра Мироновича единственно любимое им существо, становился все меньше и меньше.

Круто повернувшись от парохода, Никандр Миронович незаметно смахнул рукой катившиеся по щекам предательские слезы, глубоко и тяжело вздохнул и с большим морским биноклем в руке стал внимательно наблюдать за благополучным проходом корвета по фарватеру кронштадтского рейда, снова приняв свой обычный суровый вид “мрачного

штурмана”, каким все привыкли его видеть.

VII

Никандр Миронович Пташкин принадлежал к типу “ожесточенного”, “непримиримого” штурмана.

Человек умный, таивший в глубине души немало честолюбия, натура вообще недюжинная, энергичная и богато одаренная, он сознавал и чувствовал в себе, быть может, болезненно преувеличивая и мнительно питая это чувство, служебную безвыходность и приниженность.

Его возмущало это неравенство, развившееся на почве сословных привилегий и предрассудков [10], создавших в старинное время во флоте деление на касты. Для привилегированных патрициев, флотских офицеров, — все отличия и почести, так сказать сливки службы, а для плебея штурмана [11] — вечное подчиненное положение, труженическая ответственная работа и — ничего впереди!..

А между тем служба штурмана была весьма важная и требовала основательных знаний. Штурман прокладывал на карте путь, де-

лал счисление, описи берегов и съемки, производил астрономические наблюдения для определения места корабля, наблюдал за морскими картами, за верностью компасов, за хронометрами — одним словом, ведал главным образом кораблевождением и вслед за капитаном первый подвергался строгой ответственности по суду в случае постановки судна на мель или другого какого-либо несчастья, бывшего следствием ошибки или незнания штурмана.

Эта серьезная часть морского дела всецело лежала на штурманах, особенно в старое время, когда флотские офицеры гнушались “подлым”, недворянским, цифирным делом (недаром и штурманов презрительно звали “цифирниками”), и большая часть капитанов плохо или даже совсем не знала штурманской части, ограничиваясь управлением судов и военным обучением команд. Без хорошего штурмана многие капитаны в старину не могли бы плавать, и по этому поводу прежде ходило немало анекдотов среди моряков.

Приниженное положение штурманов не

ограничивалось их служебной карьерой. И вне службы штурман, как человек не “белой кости”, был, так сказать, “отверженцем”. Он не был принят в привилегированной касте флотских. Его чуждались. Ни один из моряков не подумал бы выдать дочь за штурманского офицера. Начальство третировало штурмана с презрительной грубостью; сослуживцы — с небрежным превосходством. Штурман считался человеком “низшей расы”, “бурбоном”. Над ним издевались. В старину про штурманов даже была сложена песенка, начинавшаяся словами:

*Штурман! дальше от комода!
Штурман! чашку разобьешь!*

Под влиянием такого отношения сложились типичные черты штурмана старого времени. Это был обыкновенно молчаливый, загнанный человек, зачастую выпивавший, с грубыми манерами, вечный труженик, педантичный морской служака, молча и, по-видимому, без ропота тянувший ляжку и переносивший грубости капитанов старого закала, но в глубине души оскорбленный и нередко

ожесточенный, питавший глухую и непримиримую вражду ко всем флотским, только потому, что они флотские.

Веяния шестидесятых годов не прошли бесследно и для замкнутого морского мирка с его кастовыми предрассудками. Многое изменилось в нем под влиянием новых идей, охвативших общество и правительство. Обращение с матросом, отличавшееся особенной суровостью, доходившею до зверства, смягчилось. Изменились, конечно, и прежние безобразные отношения между “патрициями” и “плебеями” морской службы. Никто не осмелится бы запеть: “Штурман! дальше от комода!..” Но вкоренившиеся в сознание людей кастовые предрассудки не могли исчезнуть сразу, и в самых, по-видимому, любезных и равноправных отношениях моряков к штурманам все-таки невольно проглядывало старое, годами унаследованное сознание своего привилегированного положения, что, разумеется, чувствовалось штурманами и не охлаждало традиционной вражды, тем более что и служебное положение штурманов не изменилось.

Реформы не коснулись этих “униженных и оскорбленных” тружеников морской службы.

— Всех нынче освобождают, только штурманов, видно, не хотят! Да и не стоит. Разве штурман в глазах многих человек?! Штурман — терпеливое и безропотное животное... Кто поднимет за него голос?

Так изредка говаривал с ядовитой, насмешливой иронией Никандр Миронович, обращаясь к своему помощнику, молодому штурманскому прапорщику, но, очевидно, говоря для всех сидевших в кают-компании моряков и словно бы вызывая на ответ.

И угрюмое лицо Пташкина, и его тихий, слегка скрипучий голос были полны злости.

Никто не подавал ответа, и Никандр Миронович снова упорно молчал.

VIII

Между “мрачным штурманом” (так звали за глаза Никандра Мироновича) и большинством сослуживцев установились холодные отношения, оставшиеся неизменными во все время долгого плавания. Штурмана недолюбливали.

Все признавали, что Никандр Миронович превосходный и образованный офицер; все соглашались, что Никандр Миронович человек безукоризненной честности; но его отчуждение, его, чувствуемая всеми, глухая неприязнь, тяжелый, угрюмый, озлобленный характер и, наконец, некоторые его взгляды, казавшиеся многим морякам чересчур либеральными, — все это невольно возбуждало и к нему, в свою очередь, не особенно дружеские чувства.

Несмотря, однако, на такое не особенно лестное мнение о характере Никандра Мироновича, составившееся в кают-компании, этот молчаливый и серьезный человек внушал к себе невольное уважение и некоторую боязливость иметь с мрачным штурманом

столкновение. Все были с ним особенно осторожны, избегая затевать с Никандром Мироновичем споры, особенно на некоторые щекотливые темы, и не позволяя себе со штурманом никакой шутки, никакой фамильярности, обычной в тесном кают-компанейском кружке. Каждый хорошо знал, что Никандр Миронович этого не любил, и что, несмотря на свою сдержанность и умение владеть собой, может серьезно рассердиться, а задевать его небезопасно.

И никто никогда не решался шутить с ним. Молодежь как-то невольно стеснялась при нем вести фривольные разговоры о женщинах, зная, что таких разговоров Никандр Миронович особенно не мог терпеть. Он ничего, по обыкновению, не говорил в таком случае, но сумрачное, серьезное лицо штурмана среди всеобщего веселого смеха, лицо, безмолвно не одобрявшее, казалось, пошлые разговоры, производило охлаждающее действие, и всем делалось легко, когда штурман при подобных разговорах уходил из кают-компании. Вдобавок, Никандра Мироновича знали и по его репутации — за человека

“беспокойного характера”, который очень ревнив к собственному достоинству и не позволит никому наступить себе на ногу, даже и начальству, хотя бы при этом и пришлось рисковать многим.

На корвете слышали о разных прежних столкновениях мрачного штурмана с начальством и, между прочим, о столкновении, бывшем во время одного из прежних плаваний Никандра Мироновича между ним, тогда скромным младшим штурманом, и начальником эскадры, “свирепым” адмиралом, которого все офицеры боялись как огня, особенно в минуты адмиральского гнева, когда вспыльчивый адмирал утрачивал всякую сдержанность и “разносил”, не разбирая выражений. На корвете рассказывали, как все присутствующие тогда на флагманском судне были изумлены, когда, в ответ на неприличную грубость забывшегося адмирала, этот маленький, невзрачный Никандр Миронович, побелевший, как рубашка, ответил на грубость еще более резкой грубостью, рискуя за такое нарушение беспощадной морской дисциплины надеть матросскую куртку. Изумился едва

ли не больше всех и адмирал, не ожидавший встретить такого отпора со стороны “ничтожного штурмана”, и в изумлении спустился к себе в каюту. По счастью, этот “свирепый” адмирал был справедливым и честным человеком, способным сознать свою вину. Он понял, что дерзость оскорбленного штурмана была вызвана им же самим, и не дал никакого хода этой истории. Отважный штурман не пострадал. Напротив, по возвращении из плавания, адмирал дал о Пташкине самую лестную аттестацию, представляя его к ордену.

Командир “Грозного”, лихой парусный моряк старой школы, но плохо знавший штурманскую часть, очень дорожил Никандром Мироновичем как превосходным штурманом, на которого можно было положиться, как на каменную гору, и который “не подведет”. Человек раздражительный и резкий, не стеснявшийся иногда во время “разноса” кричать на господ офицеров, замеченных в неисправности по службе, капитан, однако, ничего подобного не позволял себе с Никандром Мироновичем и был с ним всегда вежлив и крайне осторожен. Беспокойный характер мрачного

штурмана был, конечно, известен и капитану.

Впрочем, надо и то сказать: Никандр Миронович был такой добросовестный и исправный служака, он с такою бдительностью сторожил корвет около опасных мест, до того был осторожен и пунктуален во всем, что касалось его обязанностей, что даже и при желании решительно невозможно было придраться к мрачному штурману.

С этой стороны он был неязвим.

Таким образом, Никандр Миронович сумел себя поставить в независимое положение и находился со всеми в вежливо-холодных отношениях вооруженного нейтралитета.

Только с двумя членами кают-компании он не был сдержан, сух и подозрителен, и когда разрешал себя от молчания, то заговаривал всегда лишь с ними, оказывая им неизменно знаки своего благоволения. Такими фаворитами Никандра Мироновича были: механик, Иван Саввич Холодильников, милейший человек неиссякаемой доброты, глядевший вообще на жизнь с величайшим философским оптимизмом, и только что произведен-

ный из гардемаринов мичман Кривский.

Последнему Никандр Миронович прощал не только его принадлежность к “флотским”, но даже и отца адмирала и вообще влиятельное во флоте родство, вероятно за то, что этот юный, пылкий идеалист исповедовал самые демократические взгляды, вел со всеми ожесточенные споры в защиту их, никогда не ругал матросов и всегда был ярим их защитником и предстателем, что вызывало со стороны некоторых “дантистов”, считавших зуботычины несомненной обязанностью каждого “настоящего” моряка, немало насмешек и обвинений в “штатских” взглядах, нисколько не пригодных на палубе военного судна. Кроме того, этот демократ мичман заслужил благоволение мрачного штурмана, кажется, еще и тем, что, не в пример своим товарищам, интересовался не одними только “морскими” вопросами, почитывал книжки и вдобавок превосходно делал астрономические наблюдения и никогда не принимал участия в скабрзных разговорах про женщин, что было особенно ненавистно целомудренному Никандру Мироновичу.

И мрачный штурман, сперва было считавший юношу за “маменькина сынка”, которому впоследствии будет “бабушка ворожить”, присмотревшись к нему, стал иногда водить с ним разные серьезные разговоры, давал советы что читать и вообще относился к нему с сочувственным дружелюбием.

Рассказывая иногда в кают-компании свои, как он называл, “любопытные историйки”, в которых представители флотских играли всегда несимпатичную роль, Никандр Миронович обращался к Кривскому, и мрачному штурману, по-видимому, доставляло своеобразное удовольствие видеть, как возмущался и негодовал юноша, слушая о разных темных проделках с углем капитанов и ревизоров, о злоупотреблениях в порту и госпитале, о зверском обращении с матросами. А Никандр Миронович знал много таких любопытных историек и изредка рассказывал их своим тихим, ровным голосом, под наружным спокойствием которого чувствовалось ехидное злорадство, говорившее, казалось: “Смотри, как вы бывают флотские”.

Мрачный штурман никогда не лгал, и под-

линность его историек была более или менее известна морякам. Поэтому никто не мог ничего возразить штурману по существу, но и его спокойная манера рассказывать, и его скрипучий голос, и его ядовитая ирония производили всегда на присутствующих тягостное, неприятное впечатление. Старший офицер старался, бывало, замять подобный разговор, но это не всегда ему удавалось. Никандр Миронович не обращал, по-видимому, никакого внимания на производимое им впечатление и продолжал просвещать юношу насчет разных безобразий, а окончив рассказ, обыкновенно прибавлял:

— А какого-нибудь несчастного шкипера за украденный кусок парусины — под суд! Не обкрадывай, мол, казны, шкипер!.. Да-с...

Когда, наконец, Никандр Миронович окончательно умолкал, не обнаруживая намерения продолжать еще свои обличительные рассказы, все невольно испытывали чувство облегчения. И только что он уходил из кают-компании, как раздавались замечания:

— Слава богу, кончил! А то каркал, каркал... всю душу вымотал!

— Давно уж не каркал. Верно, к шторму!

— У мрачного штурмана желчь разлилась. Вы бы ему что-нибудь прописали, доктор.

— Он неизлечим! — с сердцем отвечал Лаврентий Васильевич, питавший к штурману, несмотря на свое благодушие, неприязненные чувства за то снисходительное презрение, которое проглядывало в отношениях к нему Никандра Мироновича.

— Поневоле разольется желчь, если такие мерзости на свете! — восклицал Кривский, готовый всегда заступиться за всеми нелюбимого штурмана. — Разве то, что сейчас рассказывал Никандр Мироныч, не возмутительно?.. Разве...

— Да пожалейте нас, голубчик! Уж мы наслушались вашего мрачного штурмана. Мало ли возмутительных вещей на свете!..

IX

Невыносимо долги и тяжелы для мрачного штурмана были эти три года плавания. Море, прежде столь любимое им за сильные и разнообразные ощущения, которыми оно часто дарит своих поклонников, теперь было ему ненавистно. Океан, некогда возбуждавший возвышенные мысли, то и дело нашептывал ему о разлуке и наводил тоску. И мрачный штурман чаще, чем прежде, проклинал эту проклятую службу, безжалостно оторвавшую его, через два года после свадьбы, от страстно любимой жены.

Это назначение в кругосветное плавание было для Никандра Мироновича совершенной неожиданностью. Он так далек был от подобной мысли. Он два раза уже ходил кругом света и, разумеется, не мог ожидать, что его пошлют в третий... Прочитав приказ, написанный писарской рукою, он в первую минуту был ошеломлен.

“Расстаться с Юленькой!” — беспомощно повторял он, и тоска охватила его сердце.

Это казалось ему чудовищным, невозмож-

ным делом. Он именно мечтал никогда не расставаться с любимым созданием — ведь никто добровольно не бежит от счастья! — и собирался для этого совсем не ходить больше в море, а прочно основаться на береговом месте — сделаться преподавателем в штурманском училище, иметь еще частные уроки, — одним словом, работать изо всех сил, чтоб жена могла жить беззаботно, чтобы он мог исполнять ее желания. Ведь она так молода, эта веселая, ласковая Юленька. Ее еще тешат наряды. Ей хочется блеска и света.

Никандр Миронович ни слова не сказал жене, надел мундир и отправился к начальству объясниться. Он шел полный надежды, что его объяснения будут уважены, а приказ — отменен. Желających идти в заграничное плавание ведь так много!

В приемную, где дожидалось несколько офицеров, вышел начальник штаба с серьезным и строгим видом озабоченности на лице; это был молодой еще адмирал, из “подававших большие надежды”, очень недавно назначенный на видный пост начальника штаба, открывавший дальнейшие перспекти-

вы блестящей карьеры, и, вероятно, потому уже успевший в короткое время превратиться из прежнего Петра Петровича, доброго, обходительного человека и хорошего капитана, в недоступного и необыкновенно серьезного административного авгура [12], поглощенного, казалось, в тайны высших соображений.

И этот вид недоступности вместе с боязнью не уронить своего достоинства, и эта преувеличенная, очевидно ненатуральная серьезность, и некоторая нервность еще неуверенных движений и жестов, и этот властный, громкий и отчетливый, видимо восхищавший самого адмирала тон, с каким он говорил, обращаясь к почтительно стоявшим офицерам: “Я посмотрю...”, “Все, что от меня будет зависеть...”, “Я сделаю распоряжение”, — все, словом, свидетельствовало, что адмирал еще переживал медовые месяцы упоения властью и ему доставляло наслаждение сознавать свое значение и играть в начальника.

— Вам что угодно?

— Я, ваше превосходительство, назначен на корвет “Грозный”, — начал было Никандр Миронович.

— Как же-с, знаю... знаю... Вас выбрали, как опытного и отличного офицера! — любезно подчеркнул, перебивая, адмирал, видимо довольный своим правом давать аттестации, и, подняв на Никандра Мироновича взгляд, ждал, что штурман немедленно просияет после такого комплимента.

Но — подите! Мрачный штурман не моргнул глазом и угрюмо сказал:

— Имею честь доложить вашему превосходительству, что я два раза ходил в дальнее плавание, и потому считаю себя вправе просить об отмене моего назначения.

Решительно, мрачный штурман не умел говорить с начальством. В его тоне не было чего-то “того”, что располагает сердца многих высших лиц!

И дело его сразу было проиграно.

Не понравилось ли молодому адмиралу, что в выражении лица и в тоне штурмана не было сугубой почтительности, хотя и необязательной по уставу, однако вовсе не лишней в жизни, или ему показалось, что достоинство и значение начальника штаба, от которого многое зависит, несколько задеты тем, что

этот невзрачный и угрюмый штурман не просиял от похвалы адмирала и, вместо того чтобы просто почтительно просить, “считал себя вправе” просить, — но только адмирал, за минуту перед тем готовый оказать внимание “исправному и отличному офицеру”, — внезапно почувствовал к нему неприязненное чувство, причем и лицо, и нос, и бородавки Никандра Мироновича показались теперь адмиралу очень неприятными.

И он, сдвинув брови, стал еще серьезнее, заложил, вероятно для большей внушительности, большой палец за борт сюртука и, отступив шаг назад, спросил:

— По каким же причинам вы считаете себя вправе просить?

Он подчеркнул слова “считаете себя вправе”.

— По домашним обстоятельствам, ваше превосходительство! — коротко отрезал штурман и опять без всякой нежной интонации в голосе.

— На службе нет-с домашних обстоятельств. Вы, как старый офицер, должны это знать-с! — строго заметил адмирал. — Кто

разбирает назначения, тот должен оставить службу. Иначе у всех будут домашние обстоятельства... Я ничего не могу для вас сделать. Вы назначены по приказанию высшего морского начальства! — прибавил адмирал значительно смягченным тоном, заметив безмолвное отчаяние на лице мрачного штурмана. — Вы женатый?

В его голосе звучала теперь простая человеческая нотка участия. Быть может, при виде штурмана он вспомнил, как сам два года тому назад хлопотал, чтоб его не назначали в дальнее плавание.

— Женатый...

— Я вам могу посоветовать одно: поезжайте в Петербург и просите высшее начальство... Быть может, ваша просьба и будет уважена, а я не имею права отменять назначения.

Никандр Миронович вышел из приемной с слабой надеждой.

Разве уважат его просьбу без чьего-нибудь влиятельного ходатайства? Наверное, и там ему скажут, что на службе нет семейных обстоятельств, а тем более для штурмана...

Однако он решил испробовать последнюю попытку. На следующее утро он осторожно встал, чтоб не потревожить спавшую Юленьку, и с первым пароходом отправился в Петербург... Накануне он сказал жене, что едет по служебным делам, но о назначении своем не говорил.

“К чему огорчать ее прежде времени? — думал он, вполне уверенный, что это известие опечалит жену. — Быть может... все устроится!..”

Адмирал, в обширный кабинет которого вошел Никандр Миронович, известный в те давно прошедшие времена весельчак и остроумный циник, отличался, несмотря на свое важное положение министра, доступностью и щеголял в обращении с подчиненными, особенно с молодыми, фамильярной простотой и некоторою распущенностью властного лица, уверенного, что всякие его шутки могут только доставить удовольствие.

Он, по обыкновению, сидел за своим письменным столом в халате, с открытою голою грудью, с коротко остриженной головой, с красивым когда-то лицом, теперь желтым и

оплывшим, и о чем-то весело болтал с несколькими лицами, почтительно стоявшими около стола.

— Что скажете, батюшка? — ласково проговорил адмирал, заметив вошедшего штурмана, скромно остановившегося у дверей. — Милости просим... Подходите ближе... Не бойтесь — не кусаюсь. Ваша фамилия?

— Штабс-капитан Пташкин.

— По какому делу изволили пожаловать, батюшка?

Никандр Миронович изложил свою просьбу, пояснив, что он женатый человек.

— С женой, значит, жаль расставаться, а? — заметил, смеясь, адмирал.

И, подмигнув глазом, прибавил:

— Молодая, что ли, у вас женка, господин Пташкин, что вам так не хочется уходить, а? Давно женаты?

Адмирал смотрел на штурмана с насмешливым добродушием. На его веселом лице светилась лукавая циничная усмешка.

Никандр Миронович смешался и потупил глаза. Этот фамильярно-игривый тон оскорблял его чувства. Он сделался еще угрюмее и,

Вместо того чтобы ответить в том же игривом тоне, проговорил глухим голосом:

— Два года, ваше превосходительство!

— Всего два года? — переспросил адмирал, словно бы удивляясь, что штурман так поздно женился, и снова смерил Никандра Миرونвича своим зорким и умным взглядом, который, казалось, говорил: “Однако ты, брат, очень неказист”.

Он помолчал и сказал:

— Конечно, неприятно расставаться после такого короткого срока, что и говорить; а все-таки, любезнейший, мой дружеский совет вам — идти. Вас назначили как опытного и усердного офицера, и вы не артачьтесь и ступайте с богом! — прибавил адмирал тем же простоватым, фамильярным тоном, в котором, однако, слышалось приказание, не допускающее возражения. — Что делать?.. Терпите три года... Зато после трех лет же-нушка еще милее покажется... это верно...

И адмирал снова засмеялся.

— Да что вы, батенька, таким бирюком глядите, а?.. — шутил адмирал, желая ободрить штурмана и объясняя себе угрюмый его

вид робостью перед начальством. — Не вы один расстаетесь с женой. Вон Петровский, — указал, смеясь, адмирал на стоявшего в полной парадной форме лейтенанта, — плачет, а идет. И года еще нет, как сделал глупость — женился, а назначили — и оставляет неутешную красавицу. Так-то-с... А как вернетесь, если, бог даст, будем с вами живы и здоровы, я обещаю устроить вам береговое место, коли уж вы такой домосед. А пока поплавайте... потрудитесь... Ну, с богом, родной... Не поминайте лихом... Да на японок не очень засматривайтесь! — крикнул шутливо адмирал вдогонку уходившему штурману.

Только что Никандр Миронович с отчаянием и бессильною злобою в сердце вышел за двери, как адмирал, обратившись к присутствующим, заметил с веселым смехом:

— И отчего это у наших штурманов такие отчаянные физиономии, а? Заметили, господа, что за физиономия у этого штурмана? И вид как у факельщика... Недоволен поди, а жена, я думаю, молебен отслужит за начальство... что освободило ее от такого красавчика. Разве уж сама — унеси ты мое горе!

— У Пташкина, ваше превосходительство, прехорошенькая жена! — почтительно заметил один капитан-лейтенант.

— Хорошенькая у такого мурлы? Ах он...

И адмирал весело закончил фразу весьма нескромным выражением.

— Так хорошенькая? — смеялся адмирал. — То-то ему так не хочется идти. Боится, видно, как бы в его отсутствие мичмана... того...

И, приставив к остриженной голове два пальца, адмирал залился хохотом.

Мысль об отставке закрадывалась в голову бедного Никандра Мироновича и занимала его всю дорогу от Петербурга до Кронштадта. О, с каким удовольствием бросил бы он теперь эту ненавистную службу!.. Отказ в его просьбе казался ему несправедливостью, возможною только со штурманом... Если бы просился флотский — ему бы не отказали. Он знал много примеров... Но подать в отставку был шаг чрезвычайно серьезный... Ему оставалось дослужить всего три года, чтобы при отставке иметь право на пенсион и эмеритур [13]... Неужели лишиться этого права?..

Ведь он не один! И скоро ли он найдет место?.. И где его искать человеку без связей, отставному штурману?.. Но главное, имеет ли он право подвергать Юленьку всем случайностям неверного существования?.. Еще если б у него были какие-нибудь деньги, которые бы позволили выжидать места, но у него больше денег нет. Все сбережения, скопленные им во время прежних дальних плаваний, пошли на устройство уютного гнездышка для любимой женщины, на подарки, на ее наряды, украшения, прихоти...

Но все эти благоразумные соображения теряли свою важность перед мучительною мыслью о долгой разлуке, и Никандр Миронович, всегда основательный и рассудительный, теперь не прочь был не только рискнуть отставкой, но и совершить какую угодно глупость, лишь бы не расставаться с женой.

“Что-то скажет бедная Юленька?”

Признаться, весть о назначении мужа в дальнейшее плавание не особенно опечалила “бедную Юленьку”. Вероятно, поэтому-то она с большим искусством выразила безграничное сожаление при этом известии. Ее хоро-

шенькое личико, полное “ангельской”, по выражению Никандра Мироновича, кротости, так омрачилось, в глазах светилась такая печаль, что влюбленный штурман, прошедший молодость в плаваниях, не знавший совсем ни женщин, ни женского лицемерия и веривший в свою Юленьку, как в бога, спешил ее успокоить. Счастливый и радостный, он объяснил, что еще можно избежать этого несчастья...

— Стоит только наплевать на них и подать в отставку. Что ты на это скажешь, Юленька? — проговорил он, заглядывая ей в лицо с веселой улыбкой.

— В отставку? — вырвалось у Юленьки восклицание, обнаружившее скорее удивление, чем радость. — О, конечно, это было бы отлично! — поспешила прибавить молодая женщина.

И тотчас же спросила с наивным видом балованного ребенка:

— У нас, значит, есть хорошее место, Никаша?

Этот прозаический вопрос несколько смутил Никандра Мироновича. Он добросовестно

признался, что не только хорошего, но никакого места еще нет в виду, но что за беда! Он достанет себе место... Он будет хлопотать где возможно... Сегодня же он напишет приятелю, который служит в черноморском обществе...

— Конечно, Юленька, это делается не так скоро... Придется, быть может, подождать... несколько стесниться, но ведь зато мы будем вместе, моя родная! — застенчиво и взволнованно прибавил Никандр Миронович.

Эта перспектива, по-видимому, не особенно улыбалась молодой женщине. Она, конечно, по-своему была расположена к мужу, но далеко не настолько, чтобы приносить на алтарь привязанности какие-нибудь жертвы. Не для того она вышла замуж. И практическая Юленька решила удержать своего благоверного от глупости, которую он готов был сделать из-за своей сумасшедшей любви.

Она с чувством пожала руку Никандра Мироновича, подарив его взглядом, полным благодарности, и снова повторила, что это самое лучшее, что он мог придумать... Она так рада не испытывать такой долгой разлуки...

— Одно только меня смущает, голубчик...

— Что, милая?

— Я боюсь за тебя... Удобно ли тебе бросать службу?.. Она все-таки дает верный кусок хлеба и обеспечение в будущем... Каково тебе будет, если ты не скоро получишь место?..

— Ты, значит, не советуешь, Юленька?

Юленька даже обиделась. Разве она не советует?! Разве она может решать такой серьезный вопрос?.. Пусть Никаша поступает, как найдет лучшим... Конечно, бросать службу, не имея ничего определенного впереди, страшно, но она с удовольствием готова жить в одной комнате, продать все свои вещи и платья, все, что он подарил ей; она сама будет готовить... Разумеется, во всем этом нет особенной прелести, но что делать?.. Она видела и прежде нужду... Она...

— Что ты, что ты, Юленька?.. Да разве я допущу тебя до этого, мое сокровище?.. — воскликнул Никандр Миронович, тронутый до глубины души словами жены и чувствуя себя перед нею бесконечно виноватым.

Как он мог серьезно подумать о такой глупости, как отставка! Он — отчаянный эгоист,

думающий лишь о себе. Эта будущая картина нужды, нарисованная женой, наполнила сердце Никандра Мироновича ужасом. Эта великодушная, милая Юленька будет страдать только потому, что он не имеет силы вынести три года разлуки... Он готов был поставить на карту свое положение, свои долгие годы службы, чтобы подвергнуть любимое существо случайностям неверного существования!.. О, как он гадок в сравнении с этим чистым созданием!..

И умиленный, растроганный Никандр Миронович решительно объявил, что он принимает назначение.

— Мало ли какие глупости не придут в голову!.. Какая отставка, Юленька! Отставка — безумный вздор... Как ни тяжело оставлять тебя, мою цыпочку, а необходимо! — говорил Никандр Миронович, глядя на жену с восхищением и любовью. — По крайней мере и делишки свои поправим: морское содержание хорошее, всего не истратим... Привезу тебе кое-что... да... И служба не будет потеряна... А вернусь — уж мы больше не расстанемся... Не правда ли, Юленька? — прибавил он, стара-

ась улыбнуться и скрыть свое отчаяние...

Эта беспредельная привязанность, это горе тронули молодую женщину. В душе ее шевельнулось что-то вроде упрека за то, что она недостаточно ценит эту любовь. Она заплакала. Уверенная, что он непременно пойдет в плавание, она стала теперь уговаривать его не идти с тою искренностью наивного лицемерия, свойственного лживым натурам, которое заставляет иногда разыгрывать совершенно ненужные комедии.

— Я не хочу, чтобы ты уходил из-за меня... Я не хочу... Слышишь ли? не хочу! Мне будет так скучно одной! — шептала она, утирая слезы, и ей в самом деле казалось, что жаль расставаться, хотя в ту же самую минуту, как она говорила об этом и плакала, она подумала, как будет веселиться одна, ездить часто в Петербург, бывать в театрах и клубах, как заведет новые интересные знакомства, — словом, вполне насладится свободой, не стесняемая присутствием мужа.

Никандр Миронович, тронутый такой привязанностью своей Юленьки, был, однако, непоколебим. Едва сдерживаясь, чтобы не

выдать своего горя, он же успокоивал Юленьку как только мог.

И она мало-помалу успокоилась и согласилась с ним, что надо покориться.

На следующий же день Никандр Миронович явился к командиру “Грозного” и объявил, что назначен старшим штурманским офицером.

Х

Три месяца перед разлукой пролетели для Никандра Мироновича как чудный сон. Юленька удвоила свою заботливость. Она не оставляла теперь мужа и сидела дома. Предупредительная, нежная, простиравшая внимание до мелочей, она расточала в это время столько любви, столько горячей ласки, что Никандр Миронович в умилении повторял:

— Господи! За что такое счастье? Чем заслужил я такую любовь Юленьки?

Подобный вопрос он задавал себе и раньше, когда получил радостное согласие Юленьки быть его женой, вместе с первым застенчивым поцелуем уже потертых от поцелуев губ. Это было для Никандра Мироныча неожиданным, невероятным событием, от которого невольно мутится рассудок. Он уже несколько времени любил эту девушку, но скрывал свою любовь, считая ее безнадежною, так как не смел и мечтать, чтоб его, некрасивого, немолодого, угрюмого и застенчивого штурмана, могла когда-нибудь полюбить эта молодая, красивая девушка, с своими

бархатными глазами и “чудной” улыбкой “ангела”, в которую он “врезался” при первой встрече и которую, разумеется, наделил всевозможными качествами, какие только мог придумать “морской волк”, полюбивший впервые со всею силой запоздавшей страсти и, вдобавок, питавший к женщинам благоговейный культ строго целомудренной натуры. Сознавая свою скромную наружность, Никандр Миронович всегда дичился женщин и совсем не знал их. Мимолетные знакомства во время плавания — знакомства, оканчивавшиеся ужином и золотой монетой, — лишь оскорбляли его чувства и высокое понятие о том идеале воображаемого женского существа, который он бережно носил в душе и теперь воплотил в Юленьке.

Влюбленный штурман не решался, однако, ездить так часто, как бы хотелось, из Кронштадта в Петербург, в эту маленькую, скромную квартирку в одной из дальних улиц Коломны, где жил старый бедный чиновник кораблестроительного департамента, господин Морошкин, у которого была такая хорошенькая дочка. А между тем у Морошкиных всегда

бывали так рады посещениям Никандра Мироновича. Еще бы! Старый плутяга чиновник, едва перебивавшийся с большой семьей, и его супруга, молодившаяся еще, шустрая дама, гордившаяся тем, что у нее дядя полковник и богат (хотя от дяди она и не получала ни копейки), и игравшая запоем в мушку [14], чуяли в Никандре Мироновиче подходящего жениха и советовали Юленьке не упустить случая. И то она засиделась — ей двадцать пять! Партия отличная — принца все равно не найдешь, а семье и без того жить трудно, она сама знает!..

Смышленная, с практической жилкой, девушка, рано узнавшая дома изнанку жизни, — с грязью и лишениями прилично скрываемой бедности, с попрошайством у дяди, вечными семейными ссорами, — получившая у матери первые уроки лжи и притворства, а у отца — первые наставления житейской морали заматорелого плута чиновника, — прошедшая потом полный курс петербургских клубов, — Юленька, и без родительских намеков, видела, что Никандр Миронович серьезно клюнул и что он представляет для такой

бедной девушки, как она, более или менее подходящую партию. У нее были и раньше женихи, но такие же полунищие, как и она сама, и девушка им отказывала. А Никандр Миронович был “серьезный” жених. Правда, он некрасив, немолод, но разбирать теперь в самом деле не приходится. К тому же она давно стремилась вырваться из дома, из этой полунищенской обстановки. Надоели ей и домашние сцены, и молчаливые упреки ее неумению выйти замуж, и амбициозная бедность, и ее подержанные платья с чужих плеч, в которых она отплясывала и кокетничала в благородном собрании и приказчиьем клубе, пока мать азартно играла в мушкету, скрывая проигрыши от отца. Надоели ей и влюбленные ухаживатели, желавшие соблазнить девушку и предлагавшие катания на тройках и ужины в загородных ресторанах, но, разумеется, не думавшие жениться на дочери бедного мелкого чиновника. Юленька хоть и ездила на тройках, и ужинала в ресторанах, но всегда под покровительством маменьки. Не по летам практическая и понимающая, что “ошибка” уменьшит шансы на

приличную партию, она серьезной интриги ни с кем не завела, и даже после нескольких бокалов шампанского, оживленная и раскрасневшаяся, умела держать своих поклонников в строгих границах сдержанности. Обещающие взгляды и улыбки, нечаянные поцелуи, рассеянность при долгом пожатии руки — вот все, что позволяла себе расчетливая девушка, в надежде ускорить развязку и изловить не любовника, а мужа. Но желанная “развязка” не являлась, и Юленька, раздраженная, с головною болью и воспоминанием пьяного поцелуя, возвращалась в сопровождении маменьки домой, в убогую квартирку, вид которой теперь казался ей еще ненавистнее.

Влюбленный штурман явился как раз вовремя. Она, конечно, поняла, почему он так был застенчив и мрачен в ее присутствии и почему краснеет, когда она обращается к нему. Секрет его молчаливой любви не был ни для кого секретом у Морошкиных. Старик уже собрал точные сведения, что у Никандра Мироновича лежит в банке семь тысяч, и что он считается отличным офицером. Подростки

сестры и братья уже заблаговременно выпрашивали у Юленьки подачек и оказывали ей теперь предупредительное внимание. Мать ходила к Покрову и служила молебны, рассчитывая обновить свой гардероб и обшить младших детей на счет Никандра Мироновича. Все члены этой семьи, всегда ссорившиеся и попрекавшие друг друга, притихали, как пираты, в ожидании поживы, при появлении Никандра Мироновича и, словно охотники, обхаживающие зверя, встречали гостя необыкновенно радушно, устраивая перед ним трогательное зрелище необыкновенно дружного семейства, в котором Юленька играет роль трудолюбивой, добродетельной феи.

Юленька заставила влюбленного штурмана заговорить. Свадьбу скоро сыграли, и вся семья была обшита. При всей своей испорченности, Юленька была тронута и силою беззаветной страсти, и необыкновенною деликатностью чувства Никандра Мироновича. Счастливый и умиленный, он говорил ей, что он ее не стеснит, что она будет всегда свободна в своем чувстве, и если разлюбит, то ска-

жет.

— Конечно, потеря любви ужасна, но... обман еще ужаснее... Не так ли?..

И, не веря своему счастью, он часто спрашивал:

— За что ты меня любишь?

И Юленька, ласкаясь, как кошечка, смеясь отвечала:

— За что любят?.. За то, что ты умный, хороший, добрый...

Влюбленный муж верил и был счастлив. Юленька тоже была довольна. После жизни, полной лишений, — уютное свое гнездо, наряды, поездки в Петербург, театры... Муж ее баловал, лелеял и никогда не показывал ревности. Она это ценила и не раскаивалась, что вышла замуж. Он такой добрый и хороший и так любит ее. И она по-своему была расположена к мужу, чувствуя, что он ее раб. Жизнь они вели замкнутую; в Кронштадте знакомых было немного, и это несколько смущало Юленьку, но зато она часто ездила в Петербург, чтобы похвастать перед родными нарядами и вечером побывать в театре или в клубе. Муж ее сопровождал. Конечно, он бы охот-

нее проводил вечера с ней вдвоем за чтением интересной книги, чтобы после поговорить, поделиться впечатлениями, но “она так молода, ей еще веселиться хочется... книга потом займет!” — утешал он себя и первый предлагал ей ехать в Петербург или идти куда-нибудь в гости...

Да, тяжелы были эти три года разлуки для Никандра Мироновича. Все это долгое время он жил ожиданием ее конца. Он писал своей Юленьке длиннейшие письма, наполняя страницы описанием природы, думами, впечатлениями и изливаниями своей горячей любви. Раза два Никандр Миронович даже послал ей свои стихотворения и просил никому не показывать... Он для нее только их писал...

На берег Никандр Миронович съезжал только для того, чтобы купить что-нибудь для жены, и был страшно скуп для себя. Никандра Мироновича ни разу не видали на берегу обедающим в гостинице или сидящим в кафе за стаканом пива, и все на корвете считали мрачного штурмана скаредом. Зато его каюта,

необыкновенно чистая, всегда аккуратно убранная, с несколькими портретами Юленьки, украшавшими стену над койкой, была полна подарками для жены. Чего-чего только не было в огромном сундуке! И кроме подарков, он вез чек на несколько тысяч, чтобы отдать своей ненаглядной, милой хозяйке.

Письма от жены были для Никандра Миرونвича праздником. Он запирался в своей каюте и перечитывал по несколько раз эти маленькие листки, наполненные новостями о кронштадтской жизни, рассказами о родных и общих знакомых. Ее короткие, но нежные строки о том, что она скучает без мужа и нетерпеливо ждет его, чтобы обнять и горячо расцеловать, и постоянная ее подпись: “Твоя верная Юленька” — приводили его в восторг, и он целовал письма, стараясь найти в этих нежных строках жены отклик тому поэтическому настроению, которым были проникнуты его письма.

Если письма не было, мрачный штурман приходил в отчаяние и был молчаливее и угрюмее, чем обыкновенно. Беда было тогда чем-нибудь раздражить Никандра Миронови-

ча. Он запирался в каюте и часто ночью ходил по палубе, заложив за спину руки и опустив голову. И тогда-то седые волны океана рокотали ему самые мрачные думы. Ему представлялось, что его Юленька полюбила другого (этот другой рисовался ему в образе флотского офицера) и весело смеется в чужих объятиях. Он вздрагивал от боли и старался гнать от себя эти ужасные мысли... Мало ли какие бывают случайности! Письмо могло пропасть. И зачем же так вдруг она разлюбит?.. Разве она скрывает от него что-нибудь? Не он ли говорил ей, что чувство свободно!.. К чему же обман?

Рокотавший океан не успокоивал. Напротив, он, точно нарочно, все громче и громче говорил о несчастье, о потере любимой женщины, и мрачный штурман, терзаясь ревностью и отчаянием, переживал тяжкие минуты.

Но в следующем же порте вместо одного письма его ждали два. И, жадно глотая эти милые строки аккуратной в переписке жены, строки, в которых снова была речь и о любви, и о нетерпеливом ожидании “верной Юлень-

ки”, — Никандр Миронович, умиленный и растроганный, жестоко корил себя, что смел оскорбить это чистое, благородное создание подозрениями.

— Теперь конец... скоро конец всем этим мукам! — восторженно шептал Никандр Миронович, высчитывая остающиеся дни.

И слезы радости сверкали в глазах мрачного штурмана, когда, глядя на последний портрет жены, он представлял себе скорую близость свидания.

— Кричите, господа, уру!.. Барон! Ставьте бутылку шампанского! — радостно воскликнул, входя в кают-компанию, легкомысленный мичман, только что сменившийся с вахты.

— Что такое? — лениво спросил барон Оскар Оскарович.

— Сию минуту входим в Финский залив, вот что! Завтра к вечеру в Кронштадте! Мрачный штурман сам сказал... И — вообразите, господа? — мрачный штурман улыбался. Ей-богу, собственными глазами видел! — говорил с веселым смехом мичман. — Ну, зато ж и собака погода! — прибавил он, отряхивая фуражку. — Эй, вестовые, чаю! Живо!

Все бывшие в кают-компании бросились наверх взглянуть на Финский залив.

— Доктор, проснитесь!.. Эка, храпит как!.. Лаврентий Васильевич, вставайте! — кричал легкомысленный мичман сквозь жалюзи докторской каюты.

Храп вдруг смолк на низкой ноте, и недовольный голос спросил:

— Чего вы так орете?.. Разве уж подали чай?

— И чай и Финский залив... И то и другое...

— Ну? — радостно промычал доктор.

— То-то: “Ну!”. Завтра, бог даст, дома пить чай будете... Выходите скорей!

Через минуту доктор вышел, протирая глаза и отдуваясь.

— А где же все?

— Пошли кланяться Финскому заливу, а я с вахты чайком буду греться... А знаете ли что, доктор?.. У меня мысль... поддержите.

— Коли добрая — поддержу.

— Добрая... Недурно бы сегодня за ужином вспрыснуть Финский залив, а?.. Разных бы закусок, шампанского!.. Одним словом: ознаменовать!

Доктор нашел, что мысль добрая, обещал поддержать и пошел наверх.

Погода была в самом деле — “собака”. Шел не то дождь, не то снег. Пронизывало насквозь сыростью и холодом. Свинцовые тучи повисли на небе и обложили со всех сторон горизонт.

Несмотря на такую погоду, палуба была

полна народом. Все посматривали на мутно-свинцовые, неприветные воды Финского залива и вглядывались в серую мрачную даль в каком-то особенном радостном возбуждении.

— Запахло, братцы, Расеей... Вишь, и снежок... Давно его не видали! — весело говорят матросы, и многие снимают шапки и крестятся.

Мысль “вспрыснуть” вступление в Финский залив встретила общее одобрение, хотя барон Оскар Оскарович, бывший содержателем кают-компании [15], и досадовал, что поздно спохватились. До ужина оставалось всего два часа, и повар не успеет сделать пирожного. Решено было пригласить на ужин и капитана, тем более что он в последнее время “вел себя хорошо”, то есть не очень “разносил” офицеров [16].

Ужин был веселый. Все были необыкновенно оживлены. Теперь, перед окончанием долгого плавания, были забыты прежние ссоры, прежние маленькие недоразумения, и прожитое вместе время помянули добрым

словом. Говорились спичи, и предлагались разные тосты — за капитана, за старшего офицера, за кают-компанию, за команду “Грозного”. Кривский предложил тост за старшего штурманского офицера, и все, радостные, размякшие после выпитого шампанского, горячо поддержали тост.

— А где же Никандр Мироныч? Отчего его нет? — спрашивали со всех сторон.

— Он наверху, маяк сторожит!

— Попросить сюда Никандра Мироныча!

— Ну, Никандр Мироныч не спустится, пока не откроет маяка! — заметил капитан.

— И то правда... Так несите ему бокал, Сергей Петрович. Передайте наш общий тост!

Кривский одел кожан (ему кстати нужно было подменить вахтенного офицера) и поднялся на мостик. За ним шел вестовой с подносом.

Сменив вахтенного, нетерпеливо ожидавшего смены, чтоб идти ужинать, Кривский приблизился к мрачному штурману, который стоял на краю мостика и смотрел в бинокль в направлении, где должен был открыться маяк. В темноте вечера низенькая фигура штур-

мана в дождевике с зюйдвесткой на голове казалась каким-то темным пятном.

— Никандр Мироныч! — окликнул его Кривский.

— А, это вы, Сергей Петрович... Маяк, ба-
тюшка, должен сейчас открыться... Уж глаза
проглядел... Посмотрите-ка вы... Не увидите
ли?..

Голос Никандра Мироновича звучал ра-
достным возбуждением.

Кривский передал тост за его здоровье от
кают-компании, свои поздравления по слу-
чаю возвращения домой и предложил вы-
пить бокал шампанского. Никандр Мироно-
вич чокнулся, выпил и, крепко стиснув руку
Кривского, сказал взволнованным тоном:

— Спасибо, голубчик... спасибо... Завтра бу-
дем... завтра...

— Вы бы спустились поужинать, Никандр
Мироныч... Я посторожу маяк...

— Да я есть не хочу... какой ужин! Что вы...
ужинать!.. Завтра будем, голубчик!

Это радостное волнение, обнаруженное
мрачным штурманом, удивило Кривского. Та-
ким возбужденным он его никогда не видал.

— Ну что, видите что-нибудь?..

— Ничего не вижу...

— Сейчас откроется... Ну, вот и огонек...

Вот и он... миленький! — весело воскликнул Никандр Миронович. — А вы все не видите?

— То-то нет.

— Глаз-то у вас не штурманский... Пошли-те-ка доложить капитану, что маяк открылся... Теперь надо следующего ждать.

— Да вы, Никандр Мироныч, хоть бы спустились вниз погреться. Погода дьявольская. Того и гляди простудитесь!

Но мрачный штурман наотрез отказался. Ему не холодно. Он всю ночь простоит наверху, будет смотреть за маяками.

— Да и не уснуть все равно... Слишком взволнован... Ведь я три года ждал этого самого Финского залива. Легко сказать: три года!.. — повторил он в необыкновенном возбуждении.

И, помолчав, неожиданно прибавил:

— Вы и не знаете еще, милый Сергей Петрович, какая мука быть в долгой разлуке с любимым человеком!

Его обыкновенно недовольный, раздражи-

тельный голос звучал теперь таким глубоким, нежным чувством, какого Кривский и не подозревал в мрачном штурмане.

— Теперь шабаш!.. Больше в море не пойду! Уж мне обещали место в штурманском училище... Смотрите, навестите меня... Надеюсь, наше знакомство не кончится?.. Вы увидите, какая у меня славная хозяйюшка! — с гордостью прибавил Никандр Мироныч.

Молодой человек был глубоко тронут этой неожиданной интимностью. Мрачный штурман показался ему теперь еще симпатичнее, и он горячо проговорил:

— Спасибо за приглашение... Разумеется, я им воспользуюсь и, конечно, никогда не забуду вашего расположения ко мне. Поверьте, Никандр Мироныч!

— Верю, голубчик. Вы хоть и флотский, а милый человек! — задушевно промолвил Никандр Миронович. — Оттого-то я и хочу, чтоб вы познакомились с моей женой.

Он замолчал, видимо взволнованный, а Кривский, вспомнив эту хорошенькую брюнетку, приезжавшую на корвет провожать мужа и вскидывавшую глазками, почему-то

неволью теперь пожалел мрачного штурмана.

Погода становилась хуже. Хлопья снега падали сильнее. Ветер свежел, пронизывая ледяным холодом. Вокруг был мрак, среди которого по временам лишь ярко блистал то белый, то красный огонек маяка, предупреждавший об опасности приближаться к берегу.

Никандр Миронович не обращал внимания на погоду. Возбужденный и радостный, он зорко всматривался вперед, в мрак ночи, сторожа теперь появление маячного огня с другой стороны.

XII

На следующее утро, после веселого и шумного чая, кают-компания обратилась в настоящий склад товаров. Большой стол был заставлен ящиками, ящичками и свертками. В отворенных настежь каютах шла деятельная уборка. Все пересматривали и разбирали свои многочисленные покупки трехлетнего плавания в различных странах, для подарков родным и близким, чтоб сегодня же увезти на берег кое-какие вещи.

Чего только тут не было! И шелковые тяжелые китайские материи, и целые женские костюмы, вазы, сервизы, шкатулочки, шахматы, страусовые перья, изделия из черепахи и слоновой кости, божки из нефрита [17], чечунча [18] и крепоны [19], стрелы и разное оружие диких, сигары с Гаваны и с Манилы, золотой песок из Калифорнии, индийские шали, купленные в Калькутте, попугаи в клетках, крошки обезьянки в вате...

Все, веселые и довольные, показывали свои вещи, хвастая друг перед другом и иногда совершая мены. Только Никандр Мироно-

вич никому ничего не показывал и не появлялся в кают-компании. Он давно уж уложил и приготовил несколько ящичков, которые сегодня же свезет жене, и, слегка вздремнув после ночи, снова был наверху и посматривал на высокое серое пятно острова Гогланда [20], прорезывающееся в окутанной туманом дали, к которому торопливо шел “Грозный” полным ходом, имея, кроме того, поставленные паруса.

Легкомысленный мичман, который проиграл большую часть своего жалованья в ландскнехт [21], устраивавшийся часто во время стоянок на берегу, возвращался в Россию без подарков, с одной своей любимицей “Дунькой”, уморительной обезьяной из породы мартышек, выдрессированной мичманом и проделывавшей всевозможные штуки. Он посматривал не без зависти на чужие вещи и упрашивал уступить ему что-нибудь.

— А то, господа, тетка рассердится, и кузины тоже! — смеялся он. — Нельзя с пустыми руками явиться, ей-богу! Не уступите, придется в Питере втридорога платить за “Японию”. Пожалейте бедного мичмана.

Некоторые из товарищей кое-что уступали.

— Барон, а барон! Уступите три страусовых перышка. У вас их чуть ли не сотня, а мне как раз бы подарить трем кузинам на шляпки. Деньги удержите из жалованья! — поспешил прибавить легкомысленный мичман, зная скупость ревизора Оскара Оскарыча.

— У меня у самого кузин много.

— Не сотня, надеюсь?

— И невесте надо.

— У вас на всех хватит.

— Не могу дать... все распределено... Впрочем, хотите меняться?

— На что?

— На вашу Дуньку!

Легкомысленный мичман обижается.

— Хотя бы вы, барон, все ваши вещи предложили, и то я Дуньку не отдам...

В конце концов легкомысленный мичман кое-что собрал для подарков и, обращаясь к доктору, не принимавшему никакого участия в общей суете и неподвижно сидевшему на диване, спросил:

— А ваша лавочка где, доктор? Разве нико-

му не везете подарков?

— Как не везти? Везу подарки для себя: пять кругов честеру [22], две бочки марсалы [23], бочку элю [24] да тысячу чируток! — весело говорит доктор.

— Я и забыл, вы ведь “пустячков” не любите.

— И не люблю, да и некому их возить! — заметил Лаврентий Васильич.

Пустячками он называл китайские и японские безделки и вообще всякие редкости. Он их никогда не покупал, находя, что непрактично тратить деньги на предметы, по его выражению, “несущественные”, и по этому случаю нередко говаривал:

— Это вот разве молоденькой институточке или гимназисточке лестно получить от молодого мичмана китайский веерок, бразильскую мушку, перышко, — одним словом, извините за выражение, какое-нибудь “дерьмо-с”, а моя Марья Петровна — женщина серьезная. Она любит существенное, а не то что бразильские мушки!.. Что в них?.. На руках хозяйство, дети... тут не до бразильских мушек и не до перышек!.. Вот штучку чечунчи

купил на капот. Это, по крайности, полезная вещь!

Доктор позволил себе разориться только на один пустячок, не представлявший, собственно говоря, “существенного предмета”, — на покупку дорогого стереоскопа [25] и большой коллекции фотографических карточек, большая часть которой составляли фотографии полураздетых и совсем малоодетых дам всевозможных рас, национальностей и цветов кожи.

Лаврентий Васильевич потратился на подобную покупку в качестве большого любителя “неприкрашенной натуры”. Запираясь в своей каюте, он иногда после обеда развлекался созерцанием соблазнительных картинок.

Разумеется, доктор, оберегая себя от мичманского зубоскальства, тщательно скрывал от всех свои развлечения. Только изредка он приглашал “взглянуть” пожилого артиллериста, штабс-капитана Федюлина, вполне уверенный, что Евграф Иванович, как человек скромный и вдобавок польщенный особым доверием, его не выдаст.

— Зайдите-ка ко мне, Евграф Иванович, что я вам покажу! — таинственно говорил доктор, понижая голос, когда, после покупки стереоскопа, в первый раз приглашал артиллериста на “сеанс”. — Только уж я на вас надеюсь, Евграф Иванович, что вы никому ни слова! — прибавил Лаврентий Васильевич, когда оба они вошли в докторскую каюту и двери ее были заперты на ключ.

— Будьте спокойны, доктор... Одно слово — могила! — торжественным шепотом отвечал Евграф Иванович, несколько изумленный столь таинственным предисловием.

Вслед за тем доктор вынул стереоскоп и положил толстую пачку фотографий перед коренастым, колченогим, лысым артиллеристом, втайне считавшим себя, впрочем, весьма приятным мужчиной.

— Однако... все голые! — мог только проговорить Евграф Иванович, перебирая фотографии, и неожиданно заржал.

— То-то голенькие!.. — ласково подтвердил доктор. — Признаюсь, люблю, знаете ли, натуру, не извращенную разными костюмами... Да вы в стереоскоп глядите, Евграф Иванович!

Вот так... Ну, что?

Но артиллерист, впившийся в стереоскоп плотоядным взором скрытного развратника, в ответ только произносил какие-то неопределенные одобрительные звуки.

Когда, наконец, вся коллекция была осмотрена и Евграф Иванович, весь красный, с отвислой губой и масляными глазами, первую минуту пребывал в безмолвном восхищении, доктор спросил:

— Что, какова коллекция, Евграф Иванович? Ведь тут, батюшка, представительницы всех наций...

— Да... Любопытная коллекция! — произнес артиллерист и снова заржал. — Дорого дали за эту покупочку?

— Не дешево... Но ведь зато вещь!..

— Занимательная вещица... это что и говорить!.. Но только как вы, Лаврентий Васильич, ее привезете домой, позволю себе спросить, если не сочтете мой вопрос нескромным?

— Да так и привезу... А что?.. Небось и вам хочется приобрести такую вещицу?

— Я бы не прочь, но только...

Евграф Иваныч замялся.

— В чем дело?

— Как бы супруга не обиделась, увидевши такой щекотливый предмет. Дамы на этот счет довольно даже строги! — проговорил Евграф Иванович с искусственной улыбкой, зная по опыту, какую бы задала ему “взбучку” его супруга, если бы увидела у него такие картинки.

— Вот вздор... — отвечал доктор, не совсем, однако, уверенным тоном. — Да и зачем показывать жене все картинки?.. Для нее виды, а дамочек под замок... Их можно глядеть по секрету, а то и показать когда солидному приятелю... эдак после обеда у себя в кабинете... Вот оно, и волки сыты, и овцы целы! — прибавил, смеясь, Лаврентий Васильевич. — Многие держат такие коллекции. Один мой коллега так благодаря своим коллекциям и разным японским альбомам — видели их? — даже по службе ход получил, подаривши их в Петербурге высокопоставленному адмиралу-любителю, который прослышал про них и просил показать. Тот просто пришел в восторг, особенно от разнообразия японского

альбома.

— Как же, слышал... слышал... Говорят, у адмирала целый шкаф подобных вещей.

— Ну, а коллега-то мой, Вадим Петрович Завитков, как человек ловкий и шустрый, не будь дурак, да и говорит: “Осчастливьте, мол, ваше высокопревосходительство, принять!” Тот благосклонно принял, а Завитков после того и в гору пошел... Ну, да и то сказать: умеет он, шельма, услужить... Я ведь его еще студентом знал. Того и гляди будет генерал-штаб-доктором! Вот вам и коллекция! — заключил сентенциозно доктор, хотя сам и не имел намерения поднести кому-нибудь свою собственную коллекцию.

Однако Евграф Иванович все-таки стереоскопа не купил, зная, что никакие ключи не спасут его от любопытства супруги, и лишь время от времени заглядывал к доктору в каюту и просил позволения полюбопытствовать, осведомляясь: нет ли чего новенького?

И Лаврентий Васильевич с удовольствием показывал, после чего оба эти почтенные отцы семейств пускались в оценку статей разных “штучек” и, наговорившись досыта, рас-

ходились, вполне довольные сеансом, как называл Лаврентий Васильевич эти секретные развлечения при помощи стереоскопа.

Разборка вещей окончена. Большая часть офицеров приготовилась к съезду на берег. В час подают обедать, но моряки едят лениво, и даже доктор, к удивлению, не обнаруживает обычного аппетита. После обеда никто не уходит отдыхать. То и дело кто-нибудь выбегает наверх посмотреть: “где мы” — и, возвращаясь, объявляет, сколько еще остается ходу. Возбуждение увеличивается до нервного состояния по мере приближения “Грозного” к Кронштадту. Этому последнему дню, казалось, нет конца. Время тянется чертовски долго, и все ворчат, что корвет еле ползет, а он между тем под парами и парусами, идет по девяти узлов.

Капитан часто выходит наверх и нервно ходит по мостику, нетерпеливо подергивая плечами. То и дело он спрашивает у Никандра Мироновича с нетерпением в голосе:

— К шести должны ведь прийти, а?

— Надо прийти-с! — отвечает штурман, сам охваченный волнением, которое он скры-

вает под видом обычной своей суровости.

— А вовремя возвращаемся... Опоздай день-другой... Кронштадт бы замерз. И то у берегов льдины! Пришлось бы в Ревеле [26] зимовать!

Через несколько минут он спускается вниз и говорит на ходу вахтенному офицеру:

— Как покажется Толбухин маяк, пришлите сказать!

— Есть!

Но капитану не сидится и не дремлет на мягком диване его большой, роскошной каюты. Он словно на иголках, — этот коренастый, плотный, крепкий моряк лет под пятьдесят. Умевший владеть собой во время штормов, он решительно не может теперь справиться с нетерпением, которое отражается на его красном, обветрившемся лице с выкатившимися глазами и небольшим вздернутым носом, на его порывистых движениях. Он то встает, то садится и беспощадно теребит своими толстыми короткими пальцами седоватые подстриженные баки и рыжие усы. И у него вырываются отрывистые слова:

— Миша, пожалуй, и не узнает... Вырос...

Катя... большая девица теперь... Володя... Милые мои!

Его лицо светится нежной отцовской улыбкой, глаза слегка заволакиваются, и он теперь совсем не похож на того свирепого капитана, прозванного “бульдогом”, которого так боялись, во время авралов и учений, офицеры и матросы.

Вал винта быстро вертится с обычным постукиванием под полом капитанской каюты. Капитан прислушивается, считает обороты винта, и ему кажется, что их будто бы меньше, чем было. Он надевает фуражку на свою круглую, коротко стриженную голову, действительно напоминающую бульдога, и снова поднимается на мостик.

— Лаг! — приказывает он.

Бросили лаг и докладывают, что девять узлов хода.

— Старшего механика попросить!

Через минуту является засаленный и черный Иван Саввич.

— Сколько фунтов пара держите?

Иван Саввич говорит.

— Нельзя ли еще поднять фунтиков де-

сать?

— Можно-с.

— Так поднимайте и валяйте самым полным ходом!

Когда механик ушел, капитан посмотрел вокруг, взглянул на голые брам-стенги и сказал вахтенному офицеру:

— Ставьте-ка брамсели!

Наконец, в пятом часу открылся Толбухин маяк, а через два часа “Грозный” показал свои позывные и, минуя брандвахту, входил на пустой кронштадтский рейд.

Город и мачты судов в гавани едва чернели в белой мгле падающего снега.

— Свистать всех наверх на якорь становиться! — раздалась веселая и радостная команда вахтенного офицера.

— Свистать всех наверх на якорь становиться! — проревел так же радостно боцман.

И эти крики отозвались невообразимую радостью в сердцах моряков.

— Из бухты вон, отдай якорь! — скомандовал старший офицер.

Якорь грохнул в воду. Якорная цепь с лязгом завизжала в клюзе, и “Грозный”, вздрог-

нув, остановился на малом рейде, близ стенки купеческой гавани, почти на том же самом месте, с которого он ушел в дальнейшее плавание три года и два месяца тому назад.

Офицеры радостно поздравляли друг друга с приходом. Матросы, обнажив головы, благоговейно крестились на Кронштадт. Бледный от волнения и усталости, Никандр Миронович в ответ на поздравления Кривского крепко пожимал ему руку, не находя слов.

А снег так и валил на счастливых моряков.

— На капитанский вельбот! На катер! Баркас к спуску!

Через несколько минут шлюпка с офицерами и баркас с женатыми матросами отвалили от борта на берег. На корвете остались лишь старший офицер да легкомысленный мичман, охотно ставший на вахту за товарища, спешившего обнять сегодня же старушку мать.

XIII

На следующее утро, радостное и счастливое для Никандра Мироновича, словно для узника, освобожденного после долгих лет неволи, — он все еще, казалось, не смел верить своему счастью, что он со вчерашнего вечера снова около своей Юленьки, необыкновенно кроткой, нежной, встретившей его внезапными слезами, и уж более с ней не расстанется, — он у себя дома, в веселом, уютном гнездышке, где все дышит любимой женщиной, счастливый и благодарный, под впечатлением ее порывистых, горячих ласк, которыми она точно хотела его вознаградить за долгую разлуку, — сидит теперь, как три года тому назад, в маленькой столовой, за круглым столом, на котором весело шумит блестящий пузатенький самовар. На подносе его большая чашка — давнишний подарок Юленьки в день его именин, — из которой он так любит пить чай.

Вот и Юленька. Она только что пришла из спальни — свежая, белая, с румянцем на круглых щеках, необыкновенно хорошенькая, в

своим светло-синем фланелевом капоте, с надетым поверх груди белым пушистым платком, в маленьком кружевном чепце, из-под которого выбиваются подвитые прядки черных блестящих волос. Она села за самовар и стала разливать чай, слегка смущенная и притихшая.

Никандру Мироновичу чувствовалось необыкновенно хорошо и уютно. Чай, поданный этой маленькой белой ручкой, украшенной кольцами, казался ему особенно вкусным, сливки, масло и хлеб — превосходными.

Чай отпит, самовар убран, а они все сидят за столом. Никандр Миронович все еще не может наговориться. Вчера Юленька была взволнованна и говорила мало. Что она делала в эти три года? Как проводила без него время? Есть ли новые знакомые? Какие?

Юленька удовлетворяет любопытство мужа, но не вдается в большие подробности. Жизнь шла однообразно, она скучала...

— Я, впрочем, обо всем тебе писала! — прибавляет она, и в голосе ее звучит какая-то беспокойная нотка.

Переполненный счастьем, умиленный Ни-

кандр Миронович не слышит этой тревожной нотки в нежном голосе своего “ангела”. Он не замечает, как какое-то выражение не то беспокойства, не то страха внезапно мелькает на ее лице и снова исчезает в улыбке. Он не видит, что в нежном взгляде ее прекрасных глаз, когда она изредка их поднимает на мужа, есть что-то робкое и приниженное, словно виноватое. Он видит только свою ненаглядную “цыпочку” и глядит на нее влюбленными глазами, глядит, словно не может еще налюбоваться ею, и говорит с веселой улыбкой:

— А вчера я и не заметил. Ведь ты пополнила, Юленька... Да еще как!

Внезапная краска заливает щеки молодой женщины.

— Тебе это идет, право, Юленька... Чего ты конфузишься?..

— Разве я в самом деле пополнила?..

— Есть-таки... Однако что ж это?.. Подарков ты так еще и не видала?.. Не знаю: понравятся ли тебе?

С этими словами Никандр Миронович вышел из столовой.

С хорошенького личика молодой женщины внезапно исчезла улыбка. Оно омрачилось и стало тревожным. Брови сдвинулись, и между ними залегла складка. Глаза сосредоточенно смотрели перед собой. Она тяжело вздохнула и, склонив голову, словно бы под тяжестью какой-то неотвязной мысли, сжимала свои белые руки.

В соседней комнате раздались шаги мужа. Юленька встрепенулась и подняла голову. Лицо ее теперь было серьезно. Взгляд полон решимости. Слабая улыбка играла на устах.

— Ну-ка, посмотри, Юленька, что я тебе привез! — проговорил, входя с ящиками, Никандр Миронович. — Не думай: это не все... На корвете остался еще целый сундук для тебя! — весело прибавил он, открывая ящики.

И Никандр Миронович вынимал и выкладывал перед Юленькой прелестные вещи.

— Да что ты вдруг нахмурилась, Юленька?.. Или не угодил? — с беспокойством спросил Никандр Миронович, заглядывая в лицо жены.

Она, видимо, что-то хотела сказать и не решилась.

— Не нравится, а? — повторил он.

Она подняла на мужа робкий взгляд и, улыбаясь, промолвила:

— Твои подарки прелестны... Спасибо тебе, мой добрый!

И с какою-то нежною порывистостью поцеловала Никандра Мироновича.

— А я думал, что ты недовольна, моя цыпочка, и мне было неприятно... Так довольна?

Юленька стала рассматривать вещи и опять улыбалась. Но вдруг краска сошла с ее лица. Она побледнела, взор стал мутный.

— Что с тобою?.. Ты нездорова? — испуганно спросил Никандр Миронович.

— Ничего, ничего... Пройдет, — отвечала она и вышла из комнаты.

Через минуту Никандр Миронович испуганно заглянул в спальню. Юленька была бледна, как при морской болезни.

— Не послать ли за доктором, Юленька?

— К чему? Доктор не поможет...

— Как не поможет? Что ты? Я сейчас побегу за доктором.

— Не надо! — остановила его с досадою в голосе Юленька. — Разве ты не видишь, какая

это болезнь? Я беременна, — неожиданно прибавила она.

Голос ее звучал серьезно и глухо.

В первую секунду мрачный штурман, казалось, не понял значения этих слов и глядел на жену растерянным, недоумевающим взором. Но затем он с укором воскликнул:

— Как тебе не стыдно так зло шутить, Юленька?

Юленька молчала.

— Ведь ты пошутила?! Юлочка! Голубушка! Цыпочка моя! Скажи же! Ведь это неправда? — повторил он глухим, упавшим голосом, чувствуя в то же время и надежду, и страх, и тоску.

Он заглянул ей в глаза, полные какого-то тупого выражения, и мгновенно понял истину. Лицо его покрылось мертвенною бледностью. Ужас исказил его черты. Губы нервно затряслись, и из груди вдруг вырвался жалобный, полный невыразимого страдания вопль!

— Юленька! Юленька!

Рыдания душили его. Он вышел, шатаясь, из комнаты.

XIV

“Гнездышко” сразу потеряло в его глазах прежнюю прелесть. Ему хотелось уйти куда-нибудь подальше, спрятаться от людей, остаться одному со своим тяжким горем. Он одел пальто и выбежал из дома.

Мрачный штурман шел по глухим улицам, направляясь за город, с опущенной головой, скрывая свое страдальческое, с помутившимся взором, лицо. Он шел по грязи, не замечая ни ледяного ветра, ни снега с дождем, которые хлестали его со всех сторон. Обман любимого существа, которому он верил, ревность, оскорбление, позор причиняли ему невыносимые душевные муки. Несчастье казалось чудовищным. Жизнь представлялась каким-то мрачным гробом. Когда он вспоминал, что Юленька принадлежала другому, ярость охватывала штурмана. Черты его лица искажались злобой, из груди вырывались проклятия, и он вздрагивал всем телом, полный ненависти и желания убить человека, отнявшего у него счастье. Он представлял себе, что это непременно флотский, какой-нибудь под-

лый развратник, которого следует убить, как паршивую собаку...

Мысли путались в возбужденном мозгу Никандра Мироновича. Порыв злобного чувства сменялся ощущением горя и тяжелой обиды, и это ощущение смягчало взволнованную душу. И он чувствовал к себе жалость.

— За что? За что? — беззвучно шептали его губы, и слезы лились из его глаз.

Образ Юленьки, красивый, блестящий, с ее голосом, нежным и ласковым, не оставлял его, наполняя сердце любовью и мучительной тоской...

Он чувствовал всем своим существом, что, несмотря на обиду, любит ее так же сильно и горячо, как и раньше. И это сознание причиняло ему еще большее страдание.

Он думал:

“Она полюбила другого... Чувство свободно... Я некрасив, я не возбуждал ее любви. Но разве она не знает меня? Зачем же обман? Эти письма... “Твоя верная Юленька”? Зачем вчера эти горячие ласки? Притворство, ложь?”

Он не мог ничего понять в этих противоре-

чиях и напрасно хотел себе их объяснить. Это было не под силу цельной натуре влюбленного “морского волка”, который большую часть своей жизни провел на палубе и, полюбив, лелеял в своей душе им самим созданный идеал любимой женщины, имеющий мало общего с действительностью.

И он жалел и разбитую, поруганную веру в “ангела”, и самого павшего ангела, и приходил в отчаяние при мысли, что он теперь для Юленьки чужой... Он навсегда лишен любимого существа.

“Все кончено... все кончено!” — тоскливо повторял он, и в его голове блеснула мысль, что жить не стоит!

“Зачем жить?”

Он между тем вышел за оборонительную стенку и очутился среди пустого поля. Ветер ревел на просторе, и море бушевало вблизи.

И мысли его были так же мрачны, как было мрачно кругом.

“К чему жить? Кому он теперь нужен?”

Перед ним пронеслась вся его жизнь. Ничего отрадного! Вечное одиночество, нелюбимая служебная лямка, озлобление и глухая

ненависть неудовлетворенного честолюбия! Явилось было счастье, изменившее всю его жизнь, но и это счастье оказалось миражем. Вера в единственное близкое существо разбита. Его даже не пожалели! Впереди снова одиночество — еще более тоскливое и мучительное — приниженного ожесточенного человека, на которого будут смотреть с злорадством. “Глядите! Вот этот самый — влюбленный штурман, которого жена обманула и бросила!”

— Обманула... Изменила! — повторил он уже громко.

Он припоминал теперь вчерашнюю встречу: внезапные слезы, нервное состояние, переходы от слез к ласке. Дурак! Он принял и слезы и волнение за радость свидания. Глупец! Он в самом деле верил, что его любили, его ждали. А с каким страстным нетерпением он ждал свидания!.. И вот оно!.. Он бродит за городом!

Никандр Миронович смотрел на бушующее море сосредоточенным упорным взглядом маниака. Море точно звало его к себе, обещая полное успокоение.

“А что будет с ней? Что будет с Юленькой?”

Сердце его наполнилось жалостью при мысли о страдании, об угрызении совести любимого существа, о злорадстве людского осуждения. И ему стало бесконечно жаль Юленьку. И сердце мрачного штурмана смягчилось. Он глубоко задумался.

“Нет, не так надо поступить честному человеку. Совсем не так!” — подсказывала ему самоотверженная любовь.

И он, решительный и скорбный, тихо повернул назад. Решение было принято, и он больше не думал о смерти.

XV

В шестом часу, продрогший и усталый, Никандр Миронович вернулся домой и прошел в свой маленький кабинет. Когда, через несколько минут, он вошел в спальню, Юленька была поражена видом мужа — до того он постарел, осунулся и был мрачен.

Она глядела на него с выражением испуга, подавленная и беспокойная, ожидая, что скажет он. А он опустил глаза, точно виноватый, и, сдерживая волнение, заговорил тихим, слегка дрожащим голосом:

— Я не стану упрекать. Я не сумел заслужить доверия и потерял привязанность. И вот что я предлагаю: ты свободна... Я устрою развод, приму вину на себя, и ты можешь выйти замуж за человека, которого любишь, и будешь счастлива. А пока я уеду, чтобы не стеснять своим присутствием.

Юленька не ожидала такого решения. Оно ей вовсе не улыбалось, да и тот самый “человек”, красивый лейтенант Скрынин, с которым она провела веселый год, разумеется, не связал бы себя женитьбой на разведенной же-

не штурмана. Он оказался большим негодяем — этот Скрынин! Он грубо бросил ее. И Юленька теперь ненавидела его!

Испуганная предложением мужа, испуганная перспективой жизни без средств, молодая женщина робко и виновато шепнула:

— Развод? Ты, значит, презираешь меня? Что ж, я этого стою, но мне не нужно развода, и ни за кого я не собираюсь замуж. Я никого, кроме тебя, не люблю!

Никандр Миронович поднял изумленные глаза на ее лицо, кроткое и покорное. Кажется, он не мог сразу сообразить то, что она сказала, до того это было неожиданно, и молчал.

Тогда Юленька вдруг опустилась на колени и, заливаясь слезами, проговорила:

— Прости, если можешь... Пожалей свою бедную Юленьку!

— Юленька! Что ты? Бог с тобой, родная! — воскликнул испуганный Никандр Миронович.

Он поднял ее, взволнованный и смягченный, усадил на маленький диванчик и, сядя рядом, промолвил дрожащим голосом:

— Так я тебе не чужой? Ты хочешь остаться со мною?

Юленька поняла, что дело ее выиграно и что муж ее любит по-прежнему. Вместо ответа она прижалась к нему, обняла Никандра Мироновича и спрятала голову у него на груди, всхлипывая, как малый ребенок.

И мрачный штурман молча прижимал одной рукой свою Юленьку, а другой тихо гладил ее голову. Слезы текли по его лицу.

Через минуту она говорила, прерывая слова слезами:

— Ты простишь ли меня? Забудешь ли?

— Милая!.. Разве ты не видишь?

— То было увлечение, слабость, безумный порыв. Я согласилась поехать ужинать. Я выпила шампанского и...

Юленька закрыла лицо руками.

Никандр Миронович вздрогнул, как ужасленный, ощущая мучительное чувство ревности.

— Не надо!.. Не говори!.. — прошептал он. — К чему!

— Нет, я хочу тебе все сказать, чтоб ты не так обвинял меня. После несчастного ужина

мне стал гадо́к этот человек. Я его больше не видала.

— Кто это? — глухо вымолвил Никандр Миронович.

— Не спрашивай; мне стыдно, что я была знакома с таким человеком. Впрочем, изволь, но прежде дай слово, что ради меня ты не станешь его преследовать... Даешь?

Он дал, и Юленька сказала с чувством ненависти:

— Скрынин!

— Эта гадина? О Юленька!

— О, прости... прости... Если б ты знал, как я страдала! Я не смела написать тебе... Верь, что никогда...

И Юленька, рыдая, обнимала Никандра Мироновича.

Никандр Миронович поверил и этой лжи об единственном ужине, и глубине раскаяния, и уверениям в любви. Еще бы! Ему так хотелось верить. И он утешал свою “ненаглядную цыпочку” и, нежно целуя ее, сказал:

— Ни слова больше об этом, Юленька. Забудем навсегда!

Юленька подарила мужа благодарным,

нежным взглядом и чуть слышно проронила:

— Ребенка я отдам куда-нибудь, чтоб он не напоминал тебе моей вины.

— Что ты, Юленька! Зачем? Нет, он останется у нас. Пусть люди его считают нашим приемышем. И поверь, я его не обижу и буду любить... Ведь он твой, Юленька! И вот еще что: мы пока уедем из Кронштадта, чтоб не было лишних сплетен.

— Добрый, хороший! — шептала тронутая Юленька. — Так ты совсем простил? Ты вернул любовь своей Юленьке? Ты не напомнишь о моем проступке?

— Да разве ты не знаешь, как я люблю тебя. Юленька! — воскликнул Никандр Миронович. — И ни на минуту не переставал любить, хотя сегодня, когда ты сказала, мне было невыносимо больно. И разве я негодая, чтоб когда-нибудь упрекнуть тебя, мое сокровище?

И “сокровище”, улыбаясь сквозь слезы, прильнуло к мужу.

Прошло несколько лет. Мрачный штурман Псдержал свое слово.

Он не только не обижает маленькой Юлочки, названной этим именем по настоянию Никандра Мироновича, но, напротив, не чаёт души в ребенке. И по мере того как растет девочка, привязанность Никандра Мироновича увеличивается. Ему все кажется, что жена недостаточно любит Юлочку и мало ею занимается. И он балует девочку. Во время поездок жены из Кронштадта в Петербург (Юленька часто-таки ездит “повидаться с родными”) Никандр Миронович, возвращаясь с уроков из штурманского училища, проводит нередко долгие часы, пестуя и забавляя маленькую любимицу, и сам укладывает ее спать, рассказывая ей сказки. Случается иногда, Никандр Миронович мрачно задумывается, глядя на спящую девочку. Черты ее все более и более напоминают ненавистные ему черты Скрынина. Невольный вздох вырывается из его груди, и он шепчет:

— Чем же ты виновата, милая крошка?

И он крестит девочку и уходит в кабинет готовиться к лекциям.

Свою Юленьку он любит по-прежнему, ба-луует и верит вполне ее преданности. И Юленька, все еще хорошенькая и пикантная, несколько пополневшая, всегда ласковая и нежная с Никандром Мироновичем, знает свою силу и держит под башмаком влюбленного мужа. Она в последнее время чаще ездит в Петербург, под предлогом повидать больную маму, и возвращается еще более ласковая и предупредительная. Но ее неверности сохраняются на этот раз в секрете, и Никандр Миронович, конечно, ни о чем не догадывается. Когда он замечает, что его цыпочка начинает скучать, он сам же предлагает ей развлечься и поехать в Петербург.

Зато флотских Никандр Миронович ненавидит еще более и отзывается о них с какою-то ожесточенною ненавистью. При встречах с прежними сослуживцами он еще суровее и угрюмее, чем прежде. И его все по-прежнему зовут мрачным штурманом, а за глаза, в обществе моряков, глумятся над ним:

— Жена-то ему чужого ребенка преподнес-

ла, а он преспокойно это скушал: даже не вызвал на дуэль Скрынина и не прогнал жены. Впрочем, чего ж и ждать от штурмана! — брезгливо прибавляли многие.

Примечания

Впервые — в журнале “Вестник Европы”, 1889, № 8, с подзаголовком: “Картинки былой морской жизни”.

Все примечания, кроме выделенных особо, выполнены Л.Барбашовой

[^^^]

2

Шербург (Шербур) — город во Франции.

[^^^]

3

Манилка — сорт дешевых сигар.

[^^^]

4

желудочная лихорадка (лат.).

[^^^]

5

Марсальца — марсала — крепкое десертное
виноградное вино.

[^^^]

6

Чирутка — сорт дешевых сигар.

[^^^]

Вист — карточная игра.

[^^^]

8

Роббер — карточный термин, означающий тройную партию при игре в вист.

[^^^]

...карла Черномор перед Людмилой!.. уйдем —
явится и Руслан!.. — Имеются в виду персона-
жи поэмы А.С.Пушкина “Руслан и Людмила”
(1820).

[^^^]

Исключительное положение штурманов во флоте явилось главным образом вследствие сословного различия. Дело в том, что прежде флотскими офицерами могли быть лишь потомственные дворяне. Представители других сословий не имели доступа в морскую (флотскую) службу. Штурмана же (как и механики, и морские артиллеристы) не принадлежали к привилегированному классу и были из разночинцев — из так называемых “обер-офицерских” детей, из личных дворян, из бывших кондукторов и т.п. В настоящее время штурмана упразднены. (Прим. автора.)

[^^^]

В настоящее время штурмана упразднены. —
По положению о Морском ведомстве, утвер-
жденному 3 июня 1885 года.

[^^^]

12

Авгур — здесь: посвященный в недоступные другим тайны. В древнем Риме так называли жрецов, толковавших волю богов по пению и полету птиц.

[^^^]

Эмеритура (лат.) — особая пенсия, выдававшаяся уволенным в отставку служащим гражданских и военных ведомств из сумм эмеритальных касс, средства которых составлялись из обязательных отчислений от жалования этих служащих.

[^^^]

...игравшая запоем в мушку... — Мушка (франц.) — старинная карточная игра, одно время очень распространенная в петербургских клубах.

[^^^]

Содержателем кают-компании называется офицер, выбираемый всеми членами кают-компании заведовать хозяйством. Обычно выбирают на шесть месяцев, после чего делают новые выборы. (Прим. автора.)

[^^^]

Если офицеры недовольны за неделю капитаном, то обыкновенно они не приглашают его. Эти приглашения делаются по большинству голосов. (Прим. автора.)

[^^^]

Нефрит — камень зеленоватого цвета, применяющийся при поделочных работах.

[^^^]

Чечунча — правильно: чесуча (кит.) — суровая платяная ткань, вырабатываемая из особого шелка.

[^^^]

Крепон — толстая шерстяная ткань.

[^^^]

Остров Гогланд — находится в Финском заливе.

[^^^]

Ландскнехт — старинная немецкая карточная игра.

[^^^]

Честер — сорт сыра.

[^^^]

Марсала — крепкое десертное виноградное вино.

[^^^]

Эль — английское крепкое ячменное пиво.

[^^^]

Стереоскоп — прибор, дающий объемное изображение рисунка.

[^^^]

Ревель — ныне г.Таллин.

[^^^]